



Нина Крамина
Красная носышка

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Нина Александровна Кромина

Красная косынка.

Сборник рассказов

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64640412

SelfPub; 2021

Аннотация

Это вторая книга московской писательницы Нины Кроминой. Тираж её первой книги «В городе и на отшибе» разошёлся мгновенно. В сборнике «Красная косынка» автор продолжает неспешное, вдумчивое и сочувственное повествование о нелёгкой жизни своих современников – взрослых и детей, горожан и селян. Времена причудливо переплетаются, недавнее прошлое неожиданно дополняет сегодняшний день, создавая широкую и правдивую панораму от послевоенных лет до нашего времени. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Отзывы	4
Инопланетяне	22
Скворцы прилетели	25
Лермонтова, 17	32
Альбатросы	122
Соловецкий триптих	209

Нина Кромина

Красная косынка.

Сборник рассказов

ОТЗЫВЫ

Нина Кромина. "Скворцы прилетели". Позабытая деревня. Дед и внучка. Мать уехала в город на заработки. И безвестно пропала. А тут весна. Скворцы прилетели. А скворечник не починен. И вот дед, уложив внучку, лезет на им же посаженную в детстве березу – чинить, подправлять. Помирать, как говорится, собрался, а рожь сей. И срывается старый. И падает на руины собственного комбайна. И железо в ребро, а душа в небо. И вся жизнь у души на виду. Но – внучка спит, поэтому умирать пока нельзя. И окровавленный дед ползет в дом. Написано скупое, почти протокольно, без прикрас. Но сильно. Потому что есть выход в астрал.

Алексей Антонов, (1955–2018, доцент Литературного института им. А.М. Горького)

"Скворцы прилетели" Нины Кроминой удивляет своей глубинной первородностью. Дед, пронзительно ощущаемая в деревне родная природа, маленькая девчоночка, и почти

вся жизнь, промелькнувшая в сознание пожилого человека за один миг. Здесь, как в мелькнувшем в росе луче солнца, на малюсеньком литературном пространстве концентрируется в едином синтезе то, что поэт, – слегка перефразируем – назвал дыханием (у Н. Кроминой – вздохом!) почвы и судьбы.

Сложная гамма человеческих отношений предстает перед нами в рассказе Нины Кроминой «Пахло смолой и летом». Бывшие жена и муж, оказывается, связаны друг с другом глубинными человеческими узами. У женщины проектируется выгодный брак с солидным и обеспеченным логистом. Но она соглашается на прогулку с бывшим мужем. Казалось бы, отношения у этих людей не могут иметь перспективы, героиня считает Петухова неумехой и увальнем, но реальная угроза, когда Маша спасает бывшего мужа, заставляет героиню ощутить их неразрывную связь. Рассказ написан «сжатым», точным слогом, на минимальном прозаическом пространстве очень четкими, так и хочется сказать, «живописными» мазками обозначены характеры героев и ситуация. Все это свидетельствует и о вкусе автора, и об уже имеющемся несомненном литературном мастерстве.

Вадим Салеев, доктор философских наук, профессор, культуролог

Проза Нины Александровны Кроминой отличается высоким мастерством, чувством слова и стиля, человеческой мудростью – всем, чем славна русская литература. Прак-

тически все произведения Нины Кроминой высоко оценили профессиональные литераторы: её повести и рассказы опубликованы в таких требовательных «толстых» журналах, как «Простор» (Алма-Ата), «Москва» (Москва), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Наш современник» и др. Все литературные конкурсы, на которые Н.А. Кромина направляла свои произведения, не оставляли без внимания её повести и рассказы, достаточно назвать Литературный конкурс им. Андрея Платонова (2012) и первую премию на фестивале «Славянские традиции» (2014). Направление, в котором работает Кромина, традиционно для классической русской литературы – это жизнь простого человека, бесконечное сочувствие к обездоленным, надежда (несмотря ни на что!) на лучшую долю. Я много раз перечитывала её рассказ «Жили-были» (о стариках в умирающей русской деревне, которые уважительно называют поселившихся в брошенном доме бомжей «приезжими»), и всякий раз это великолепное произведение вызывало у меня слёзы, как, впрочем, и рассказ «Трофеи», и многие другие произведения. За «прекрасный, чистый русский язык» рассказа «Лермонтова, 17» Нину Александровну публично благодарила на фестивале «Славянские традиции – 2014» поэт и критик из Киева Наталья Вареник. Меня восхищает, что Нина Кромина одинаково успешно «работает» с разными героями: селянами и горожанами, детьми и стариками, мужчинами и женщинами разных профессий и социального статуса, умеет раскрыть и убедительно по-

казать высокую, истинно христианскую нравственность, моральную силу, красивую душу русского человека.

Елена Яблонская, писатель, член Союза писателей России.

Красная косынка

Прошлой осенью Олимпиада Ивановна случайно оказалась в подмосковной Сосновке и вспомнила то лето, когда её родители снимали здесь притулившуюся к двухэтажной даче открытую террасу с крыльцом и две крошечные комнаты, напоминавшие купе. Она ходила по улицам, зажатыми между высокими кирпичными заборами, искала и не находила ни милых её сердцу домов, украшенных резьбой, ни весёлых садов с лёгкими изгородями, ни травянистых островков в тупичках, где днем гоняли мяч, а вечером топтались под патефон...

В тот год у неё появился брат, и вся жизнь их семьи теперь неспешно текла вокруг его младенчества. По утрам у крыльца молочница из ближайшей от дачного посёлка деревни переливала из банки в блестящий, ещё не потемневший алюминиевый бидончик козье молоко. Один стакан выпивала Липочка, а другой, с чаем, её мама...

Сама же дача, привлекающая внимание верандами и башенками, стояла как будто отвернувшись от улицы. Лицом в сад. Прозрачный шатёр приглашал войти в распашные двери

и вел в таинственные покои, куда время от времени, взмахивая крыльями яркого платья, впархивала хозяйская дочь Ляля.

В глубине сада, за яблонями, стоял едва заметный скромный дом, который занимали старики – её отец и мать. Отец, мужчина лет шестидесяти пяти, высокий, сохранивший не только военную выправку, но и привычку не выходить за калитку в штатском, был почти невидим. Мать выглядела моложе мужа, но округлившаяся спина, тёмный платок, который она иногда повязывала, и суетящаяся походка выдавали в ней женщину, уже уступившую себя возрасту. Рассказы всезнающей молочницы об её увлечениях в молодости удивляли дачников. Жизнь не оставила и следа от прошлой жизни.

– Гуляющая она была, гуляющая, на столе танцевала, вот ей наказание-то и пришло.

– Что Вы! Не может быть, – восклицала Липочкина мама, – и, деликатно скрывая досаду, выслушивала рассказы, держа бидончик в руках и прислушиваясь к звукам из комнаты, откуда каждую минуту ожидала услышать детский плач. Она нервничала. Пережитая война, потери, поздняя беременность, которую врачи долго принимали за опухоль, трудные роды, жизнь на тощую зарплату мужа – всё это из-

менило её характер и лишило нежности.

Ребёнок же вёл себя на удивление спокойно. Проснувшись, он лежал, разглядывая или бело-розовый фонарь с павлинами на потолке или муху, ползущую по стене или что-то ведомое ему одному. И даже если его будил гам, который привозила с собой Ляля, не кричал, а внимательно прислушивался и будто бы улыбался.

Ляля, шумная женщина лет двадцати пяти, обычно являлась с компанией, их веселье перепрыгивало с куста на куст, застревало в листьях, долетало до вершин сосен.

Ярко-красные Лялины губы, под цвет им косынка на голове, напоминающая революционный плакат, и голос, неестественно возбуждённый, прерываемый длинными и трудными заикающимися паузами, тревожил Липочку, а смех, переходящий в хохот – пугал.

Как правило, Лялины праздники проходили вблизи домика её родителей, но иногда она появлялась вблизи террасы дачников, где росли большие яблони с крупными наливными плодами. Изящная, в цветастой одежде, с корзинкой в руках, окруженная приятелями и приятельницами, она то срывала яблоки, то перекрикивалась с кем-то, то гоготала. Липочке, время от времени наблюдавшей за ней, она казалась

необычной. Девочка с интересом и настороженностью рассматривала Лялю и замечала, что и та с пристальным вниманием поглядывает на неё.

Как-то она подошла к девочке и спросила, как её зовут.

– Липочка...

– А полное имя какое? Ну, как тебя будут называть, когда вырастешь?

– Олимпиадой.

– В-вот видишь, – обрадовалась Ляля, – у нас б-буквы совпадают. “о” и “эл”. Ты буквы-то знаешь? Ты – Олимпиада – Липа, а я – Ольга – Ляля. Хочешь, я тебе косынку подарю? – и, не дождавшись ответа, засмеялась и побежала туда, где её поджидал фотограф, – так Липочка называла про себя мужчину средних лет с тёмными зачёсанными волосами, которые он игриво забрасывал назад, смешно дёргая головой.

Однажды Липочка, зайдя за террасу, увидела, как этот мужчина мял Лялю и прижимал к забору, а она издавала странные звуки и шумно вздыхала. Испугавшись, Липочка вбежала по ступенькам, натолкнулась на коляску, в которой лежал брат и, чуть не опрокинув её, бросилась в комнату.

– Что ты носишься? – донёсся до неё строгий голос мамы. – Займись чем-нибудь. Порисуй, поиграй.

Но Липочке было не до того. В волнении, поджав под себя ноги, она, кусая ногти, сжалась на кушетке и пыталась понять, что же случилось там, за террасой.

– Вот, – холодно сказала мама, входя и протягивая Липочке альбом с раскрасками, – ты, наверно, забыла, что папа вчера тебе привёз. Не болтайся без дела.

И Липочка, усевшись за крошечный столик, на котором стояли пузырьки и склянки с Жорикиными присыпками, взяла карандаши, лежавшие тут же, и стала аккуратно докрашивать картинку с незабудками. Она так усердно, склонив голову на бок и прикусив губку, водила карандашом по бумаге, что вскоре забыла и про Лялю, и про мужчину с тёмными волосами...

Возможно, она и вовсе забыла бы эту сцену, если бы на следующий день опять там же, в этом уединённом месте, не произошло ещё более страшное ...

Липочка сидела на террасе лицом к саду за столом, покрытым белой клеенкой с голубыми цветами и, отрывая от мотка ваты крошечные кусочки, плотно наматывала их на игол-

ку, потом вытягивала иголку и получался ватный жгутик, который её мама называла “гусариком”. Иногда он получался рыхлым и его приходилось переделывать. Теперь это занятие кажется странным, но в те далёкие годы, когда Липочка была девчонкой, многих современных понятий и предметов не существовало. Например, ватных палочек. Вот и крутили гусарики, чтобы прочищать младенцам носики, ушки...

Беззвучно колыхались вершины сосен, едва доносились отдалённые звуки железной дороги и младенческое старательное причмокивание. Покойно и умиротворённо.

Ляля, которая ещё вечером приехала на дачу с фотографом и одной из своих подруг, долго не выходила в сад. Потом почти беззвучно собирала растущую вдоль забора смородину. Ни яркой помады на губах, ни красной косынки, лишь растрёпанные рыжие волосы... Неожиданно к ней сзади подошёл фотограф и поцеловал в шею. Липочка видела, как Ляля вздрогнула и, повернув к нему голову, тут же отвернулась. Тихий голос мужчины, будто что-то объясняя ей, тихо ворковал. Липочке показалось, что он оправдывается перед женщиной, а та, опустив голову, беззвучно плачет. Спустя некоторое время до Липочки донёсся Лялин голос. С трудом, заикаясь больше, чем обычно, всхлипывая, она спросила:

– Т-ты.. е-е-ё ль- ль-любишь? А ... я?

– Ну, и ты мне, конечно, нравишься. Ну, как человек. Ты весёлая...

– А к..к..ак жжж-енщина?

И, не дождавшись ответа, расплакалась ещё сильнее, уже навзрыд...

Не прошло и пяти минут, как из дома вышел всё тот же мужчина и Лялина подруга. Они быстро, почти бегом, шли по весёлой с солнечными бликами тропинке, а Ляля, по-прежнему, всхлипывающая у кустов, крикнула им:

– К-ку – даже вы?

Её подруга, не поворачивая головы, на ходу бросила: “Так надо”.

Липочке от всего увиденного и услышанного стало опять не по себе. Девочка вдруг почувствовала, что ей очень жаль Лялю. Она побежала в комнату, схватила альбом для раскрашивания и, вырвав страницу с уже голубыми незабудками, бросилась в сад, чтобы утешить... Сбежала со ступенек, обогнула террасу и увидела Лялю.

Ляля лежала на спине в какой-то неестественной позе, её тело странно вздрагивало, запрокинутая голова дрожала. “Мама! Мама!” – испуганно закричала Липочка. Мама, подойдя с Жориком на руках к террасному окну, лишь взглянув на Лялю, быстро отнесла Жорика в комнату и, застёгивая на ходу кофту, побежала через сад к домику Лялиных родителей.

Почти тут же Липочка увидела стариков. Запыхавшиеся, она стояли над дочерью и что-то делали с ней, а потом с помощью Липочкиной мамы, которая больше суетилась чем помогала, понесли в дом. Вернее, нёс отец, лицо его побагровело, он натужно, с хрипом дышал, а его жена и Липочкина мама лишь мешали ему, пытаясь поддержать Лялины ноги, которые болтались как у куклы. Липочка смотрела на них и чувствовала, как холод замораживает её, сковывает. Увидев Лялино лицо, восковое с закатившимися глазами, девочке показалось, что сердце у неё на мгновение остановилось, а потом забилось быстро-быстро и стало трудно дышать. Она поднялась по ступенькам и пошла в комнату, где на кровати лежал брат.

Вытащив из пеленок ручку, он с усердием сосал большой палец. Глядя на него, Липочка вдруг почувствовала такую тревогу, такой страх за его жизнь, что, желая огородить от

всего, что нахлынуло на неё, пытаюсь защитить, заслонить собою, обняла. Так они и лежали рядом, запелёнатый младенец и девочка. Тихо. Лишь за стеной раздавался шёпот, вздохи.

Спустя некоторое время на террасе послышались шаги. До Липочки донеслись голоса: глухой – Лялиного отца и другой, похожий на Лялин, только без заикания – её матери. “Это всё война, контузия”, – часто, будто извиняясь, повторяла она. Старики сидели долго и что-то рассказывали, но Липочка слышала лишь отдельные слова, несколько раз Лялина мать говорила:” Пойду проведаю” и тогда раздавался звук отодвигаемого стула и скрип половиц. “Всё в порядке. Спит”, – слышалось через некоторое время и опять о чём-то тихо-тихо говорили. В приоткрытую дверь Липочка видела, что тени сосен, росших за оградой, стали темнее, а заходящее солнце розовой полосой отмерило вечер. Она задремала. Ей приснилась ведьма, утаскивающая её в какой-то сарай за железной дорогой, тёмная платформа, всполохи красного. Она чувствовала, что цепкие жесткие пальцы с острыми ногтями сжимают её руку и тянут, тянут за собой. “Мамочка! Mamочка!”

– Что ты орёшь? —спросила мама, – Жорика разбудишь и Лялю. У неё был приступ, – она наклонилась, взяла Жорика и пошла с ним на террасу.

За ними вышла из комнаты и Липочка. Уже тускло горели лампочки в бумажных абажурах, спускающихся с потолка, около них вились и падали безвольные ночные мотыльки.

Липочкин папа, недавно вернувшийся с работы, снимал с керосинки большое ведро, над которым поднимался пар.

Девочке нравилось, когда в комнате включали рефлектор с ярко-красной спиралью, вносили цинковую ванночку и ставили её на два табурета, перемешивали воду, измеряя температуру специальным градусником, одетым в деревянный чехол, клали на дно легкую пеленку и погружали в неё брата. Его головку отец укладывал на ладонь, большую и твёрдую, а мать в это время осторожно водила намыленной тряпочкой по крошечному детскому тельцу. Брат шевелил руками, ногами, выпячивая красный, чуть вздувшийся живот, и казалось, что он плывёт...

Вдруг Липочкина мама, вспомнив что-то, повернула голову к дочери и сказала:

– Хозяева сказали, что ты можешь собирать яблоки. Которые упали, – и добавила, – они самые вкусные.

И тут Липочка вспомнила, как раньше, пока ещё не

родился брат, мама часто рассказывала ей сказки, как катилось яблочко по серебряному блюдечку и на блюдечке вырастали города, летали облака и сияло солнце... и захотелось яблока... А яблок в хозяйском саду и, вправду, было много.

Красивые, светящиеся изнутри, с тонкой полупрозрачной кожурой...

Утром, когда мама в одной из комнат кормила брата, девочка, как обычно, сидела за столом и, готовясь раскрасить понравившуюся картинку, выбирала из трёхэтажной коробки с витиеватой надписью “300 лет Воссоединения Украины с Россией”, которую недавно подарил ей папа, карандаш.

Но тут на крыльцо, странно озираясь по сторонам, поднялась Ляля с корзиной яблок и, поставив её на пол, сказала вполголоса:

– В-вот, кушай. А мама где? Кормит?

– Спасибо, – ответила Липочка, слезая со стула. – Позвать?

– Н-нет, не надо, я к тебе пришла. Ходила в сад. Туфли вчера там посеяла. А это твоё? Потеряла?

И, вынув из корзинки, протянула девочке листок со вчерашними незабудками.

– Это я в-вам хотела подарить, – почему-то тоже заикаясь
ответила Липа.

– С-спасибо. Я возьму на память. Можно? А тебе в-вот от
меня косынка.

Ляля достала из кармана широкой, доходящей до лодыж-
ки, юбки сложенную в несколько раз красную косынку.

Мягкая, с обгрызанными уголками, со следами чернил и
пятен, отглаженная, и, как показалось Липочке, пахнувшая
утюгом, теплая ткань ткнулась в руку девочки и та зажала
её, согнув пальчики в кулак.

– Спасибо.

– Эт-то, чтоб ты не потерялась.

И, приложив палец к улыбающимся губам и глядя на Ли-
почку, быстро, будто опасаясь чего-то, тихо спустилась в сад.

А девочка, расправив косынку, сначала рассматривала её,
потом набросила на голову и пыталась завязать сзади, под
косой.

– Что ты делаешь? Что это у тебя? – услышала она недовольный голос мамы.

– Косынка? Чья, откуда?

– Ляля подарила.

Выхватив косынку из рук дочери, женщина побежала по саду к дому Лялиных родителей.

Липочка, удивлённая, испуганная, готовая расплакаться, стояла на террасе и прислушивалась. Но за шумом сосновых ветвей, переговаривающихся с ветром, не могла уловить голоса людей.

Вечером папа привёз Липочке шоколадку в серебряно-синей обёртке. Он достал её из внутреннего кармана пиджака, плитка пахла табаком и Липочке потом долго казалось, что у шоколада запах табака.

Потом купали Жорика.

– Знаешь, – рассказывала мама тихим, незаметным голосом, намыливая сыну ножку, – Лялю-то, оказывается, во время бомбёжки потеряли, при эвакуации. А нашли уже после войны. И надо же у матери ни царапины, а она... Они её сра-

зу узнали. И не только по красной косынке. А она их нет... контузия. Когда в детском доме детей выводили к взрослым, ну, к тем, кто их искал, велели брать, что у кого от старой жизни осталось. Детей по вещам находили... Боюсь я эту Лялю. Сегодня тряпицу свою красную Липе сунула и убежала. Я к родителям её ходила. А они говорят, а вдруг дочка ваша потеряется...

Липочкин папа вдруг побледнел и его рука, на которой лежала Жорикина головка, задрожала, и он сказал, как отрезал:

– Не смей брать! Войны больше не будет!

И девочка удивилась, потому что никогда не слышала у папы такого голоса.

– Я и не взяла, – вполголоса, как обычно при сыне, ответила мама.

А потом Липочка разглядывала густое августовское небо с падающими звёздами, вдыхала аромат подмосковной ночи, запах сосен, яблок и слушала едва доносившийся голос железной дороги...

Она шла по незнакомой Сосновке, вспоминала заикающую-

юся Лялю и Жорика... В его коляску эта странная женщина перед их отъездом с дачи незаметно подложила красную ко-сынку. Вспоминала, как уже после смерти родителей долго искала брата по госпиталям и военным частям, как везла его домой по дороге, у которой не было ни конца, ни края...

Инопланетяне

Он поселился в нашем доме недавно. Складненький такой, симпатичный и волосики у него чудненькие – прядочки как лучики солнечные.

У нас раньше тихо было, только и слышно: тик-так, тик-так; телевизор мы редко включали, очень уж шумно: то пальба, то гульба.

Сидим со стариком – книжечки почитываем: он – “Учебник рисования”, я – “Пейзаж, нарисованный чаем”.

А тут вдруг Он объявился – ребёнок. Два года шесть месяцев. Мальчик. Ну, сами знаете, что мальчики – это народ весёлый, самостоятельный, независимый. Могут и телефоном запустить и ревизию, где надо навести. Непривычно. Я-то ничего, это ведь понимать надо РЕ-БЁ-НОК, а старик мой насупился, губы полосочкой, ушёл в своё подсознание, помалкивает и всё где-нибудь в уголочке, будто нет его.

А ребёнок растёт. День ото дня умнее становится. К нам приглядывается. Мы то что, мы давно на Земле живём, обвыклись, нравится – не нравится – помалкиваем, нас никто и не спрашивает, а этот, что не так – такой крик поднимает,

что за него страшно, ему всё вновь: и что цветы подушкой не бьют, и дедушкиными очками об пол не хватают, и что буква Щ это как Ш, только с хвостиком.

Вот как-то мы с ним на прогулку отправились. Бегаёт. Прыгает. Звонким голосом по парку разносится “Эй, Мамай, Мамай!” С горки – на горку, с мостика – на мостик, с другими абанятами переговаривается, на девочек поглядывает.

Два часа живчиком эдаким. А потом устал, скукожился так.

Дома подошёл к деду, положил ему головку на руку, в глаза взглянул. Потом ко мне: “Возьми на ручки”, грудничком у сердца обернулся, прижался, губками почмокал.

Положила в кроватку, сама рядом. Засыпать стал, вдруг глаза открыл, круглые, голубые, бездонные и смотрит серьёзно и напряженно, изучает, а ручкой палец мне сжимает.

Вспомнила я тут, что, когда брали сына из роддома, давно это было, муж приоткрыл одеяльце, посмотреть, а на него, нет, в него, оттуда, глазищи. “Кто, – мол, – ты”?

Вот и этот...

Я уж и подумала не инопланетяне ли?

Скворцы прилетели

Уложив Наташку на старую, ещё брежневских времён кушетку, укутав её бабкиным ватным одеялом, Николай подошёл к печке, открыл дверцу, зажёл спичку, поднёс к коре. Огонь облизал поленницу, разгорелся.

– Вот так бы всегда, хорошая сегодня тяга, – как будто кому-то сказал он.

Но никого кроме малОй, наревевшейся без матери, в избе не было. Что в избе?

На всей их улице – только он да девчонка, только два дома на всей улице, его да дачников. Тех ещё ветер не принёс, а дочку, как ветром сдуло. “Нет, объявится, конечно, когда-нибудь. Деньжат подзаработает, сколько-нисколько, объявится. Тут дитя её, куда ей без неё. А пока с дедом. Хотя какой я дед – ни седины, ни бороды. Хоть сейчас в женихи, а тут в няньках. Да, нет, я что, я ничего, это, пожалуйста.”

А сам кряхтел, держался за поясницу, кашлял.

Вышел на крыльцо, в чём по избе ходил, в рубашке, старых спортивных штанах да тапках на босу ногу. Как всегда,

глянул на небо, на готовившееся к закату солнце; на берёзу, которая выросла так, что закрывала полнеба, расставив, ручища над тропкой к калитке, над малиной, над столом, где летом кому чай, кому стопари. Посмотрел он и на ржавую грудку металла, сваленного под берёзой, которая когда-то была его трактором.... Надо было давно её сдать на металлолом, чтоб глаза не мозолила и не травила душу.

“Да, и окашивать трудно, всё косою цепляешь”.

Но до косьбы ещё далеко. Правда, трава зазеленела и серёжки на берёзе объявили – скоро прилетят, скоро прилетят, милые.

Взглянув наверх, где висел слаженный им скворечник, когда-то голубой, яркий, заметил, что тот покосился, как бы не упал...

Вышел за калитку, вот он простор, вот где дышится, вот где и курнуть не грешно. Но ещё и на скамейку у забора не успел сесть, как увидел: под берёзой скворчиха наскაკивала на женишка, тот хохлился, лепетал что-то в ответ, будто оправдывался.

– Так, значит уже тут, как тут, а дом-то покосился. Вот она и выговаривает.

И сразу вспомнил своё – как привёз в дедов дом молодую жену, а она ему:

– Это что же, я в такой сырости ночевать буду? Да, у тебя грибы на стенках растут.

– А я ремонт сделаю, яичко будет.

– И когда же это? Из чего?

– Да, ты не шуми, не шуми, посмотри лучше кругом. Какие сады, луга, овраги – красота. А берёзу эту я сам сажал, перед армией. И знаешь, загадал – пока берёза жива и я с ней, а берёзы не будет – тогда уж всё...

Николаю казалось, что он понимает птиц, и удивлялся, как они похожи на людей.

– Так, значит, уже прилетели. Не успел до их прилёта подправить. Ну, ничего, ничего. Сейчас.

Николай притащил из сарая лестницу, приставил к берёзе и не спеша, как он всё теперь делал, стал подниматься. Пока лез, ругал себя последними словами:

– Какого хера я так редко перекладыны набивал, нельзя что ли было поближе их друг к другу приколотить. Корячься теперь.

С трудом дотянулся до покосившегося скворечника, поправил и подумал:

– На будущий год надо новый сделать, этот уж совсем сопре.

Не торопясь, стал спускаться. Его подгнившая лестница скрипела, шаталась.

– И ей пришло время.

Он закашлялся, дышать стало трудно, и вдруг перекладина подломилась, и ему пришлось ухватиться за сук берёзы. Издав сухой хриплый звук, дерево откинуло от себя засохшую ветку, пальцы рук у Николая разжались как-то сами собой, и он упал на груды металла, на ржавые останки былой гордости колхозного строя.

Острый обломок того самого трактора, который приносил ему когда-то доход и славу, царапнул сильно и больно.

Он хотел сказать злые слова, которые и словами-то на-

звать нельзя, которые сами высказывали из него, но вместо них почему-то шепнулось “Господи!” и вдруг увидел над собой какое-то неведомое ему раньше небо над головой. Всё затихло, стих ветер, птичьи голоса будто растворились в воздухе, и даже берёза, его берёза, будто замерла.

И вместо боли, в нем родилось удивление и восторг. Сквозь ветки голубело, слегка подсвеченное золотым лучом солнца, небо. Оно распахнулось перед ним, и вдруг земля оказалась где-то внизу: и берёза, и изба, и поля. За зарослями садов краснели уцелевшие от пожаров стены старых домов, весело блестели на кладбище металлические цветки свежих венков, тёмными пятнами лежали надгробья, кривились старые кресты.

Обычное, примелькавшееся, стало великим и таинственным.

Его не удивляло это странное разглядывание земли сверху, оно завораживало. Его не удивило даже то, что он увидел: из бани, которая стояла чуть поодаль от их избы, вышла жена, её тело розовое и молодое, круглилось большим животом, за руку она вела светлотелого малыша, смешно забавшего ногами.

– Что это она раздемшись? Сдурела баба и Лёшку засту-

дит.

Хотел крикнуть, но звука не получилось, только внутри что-то больно съёжилось и будто разорвалось. И уже не криком, а мукой проплыл перед ним тот мост, на котором тряпьем повис Лёшка, приговорённый кем-то.

– Ю-ль-ка!

– Гляди, отец, дети-то у нас какие справные!

И уже не у бани, в ветвях старого соколя, мелькают качели из какой-никакой доски, привязанной старыми дедовскими канатами, и детишки вспархивают Ленкиным платищем и Лёшкиными вихрами.

– Юлька, возьми к себе, не могу больше, – хочет крикнуть Колька, но немота рвёт нутрь, бросает на ржавое, отслужившее...

– Наташка-то одна в избе, а у меня печь затоплена, – вдруг думает он.

Сползает с кучи металла, босой, в разодранной рубашке, испачканный кровью, подползает к избе.

Там, за дверью, у соскочившего с печки огня сидит Наташка, маленькая такая девчоночка, только-только ходить научилась, и дует, дует на пламя как на блюдец с горячим чаем...

Лермонтова, 17

В избе было прохладно, потому что Федоровна экономила дрова. Наташа зябла. Накинув на плечи ватник, она смотрела в оттаявший кругляш зимнего окна. Мелкие снежинки, кружась, то опускались, то, подхваченные печным духом, опять поднимались в небо. Девочке казалось, что они увеличиваются, увеличиваются и потом превращаются в маленьких птичек. И Наташа вспомнила о синичках: «Они же мерзнут, голодные! Надо им крошек вынести!»

За печкой позвякивала посудой Федоровна. Сгорбленная, молчаливая, в туго завязанном темном платке, она теперь часто подолгу перемывала домашнюю утварь, переставляла ее с места на место. Иногда доставала из шифоньера узел с вещами и, развязав его, все смотрела, смотрела, словно никак не могла насмотреться.

– Вот, – сказала она вчера Наташе, – все, что надо, собрала, а смерть не приходит.

Мысли о последнем часе посещали Федоровну и прежде. И только дети, пожалуй, отвлекали ее от них. Бывало, она часами смотрела в окно на двухэтажный, похожий на барак дом, на детишек, что гуляли во дворе подле или, при-

жавшись к деревянному забору, внимательно всматривались в идущих мимо прохожих.

То и дело кто-нибудь из детей, увидев женщину, кричал:

– Это моя мама!

– А это мой папа! – подхватывали рядом, указывая на показавшегося из-за угла мужчину.

Пешеходы обычно не останавливались и даже, как казалось Федоровне, старались побыстрее проскочить мимо.

Как-то детвора задержалась возле дома Федоровны.

– Бабушка, дай яблочка! – кричали они и смеялись, давая понять, что это всего лишь шутка.

Тогда-то Федоровна и заметила Наташу. Выше других, с густыми пшеничными волосами и какой-то взрослой грустью во взгляде. Девочка так смотрела на Федоровну, что той даже показалось, что девочка пытается в ней кого-то вспомнить. Кого-то из своих родных... На следующий день, едва Федоровна угнездилась на скамейке возле забора, к ней подошла Наташа и села рядом. Девочка молча смотрела в землю и даже не болтала ногами. Потом вдруг сказала, глядя ку-

да-то в сторону, словно и не Федоровне даже:

– У меня вчера папка повесился. Теперь меня забирать на выходные некому.

– А ты ко мне приходи, – сказала Федоровна тихо, почти шепотом, и вдруг обняла Наташу.

С тех пор Федоровна стала по пятницам забирать Наташу из интерната, и пятница стала для Федоровны маленьким праздником.

Вскоре, однако, интернат закрыли, и девочка осталась у старухи. Как это получилось, почему Федоровне разрешили оставить Наташу у себя, сказать трудно...

Жизнь Наташи у Федоровны пошла спокойная, обыденная, сытая. Да только уж очень Наташе было скучно в избе без компании, шумных игр, ссор и примирений. Хорошо еще, сосед дядя Толя подарил им с Федоровной старый телевизор, а Наташе отдал свой мобильник.

– А звонить-то мне кому? – удивленно глядя на дядю Толю, спросила она.

– А матери?

– Так она ж меня бросила. Да и номера ее я не знаю.

Федоровна поспешила вмешаться в разговор. Строго глядя на Толю, сказала:

– Мать она и есть мать. Второй матери не бывает. Ты, Толь, ее мать поищи в городе-то. Наташа тебе фамилию скажет.

Свою фамилию Наташа хорошо знала: тетрадки ею подписывала, на уроках на нее откликалась, хотя и чувствовала себя всегда и везде только Наташей. Без всякой фамилии. У отца тоже была такая фамилия. Когда Наташа родилась, он сидел в тюрьме. Наташина мама, оставив маленькую Наташу деду, уехала не то на заработки, не то с каким-то мужиком за счастьем. Она, конечно, иногда появлялась у деда дома, и тогда Наташе становилось так радостно, что хотелось петь, правда, если только мама была трезвой.

Потом, когда дед умер, мать забрала ее в поселок возле станции, где их пустил к себе жить дядя Саша первый. Этот дядя Саша, после того как от него ушла жена, из дома не выходил, лежал на топчане. Мама покупала липкое, сладкое вино, и они с дядей Сашей его выпивали. Дядя Саша зарастал щетиной, и глаза у него делались все голубее. А когда

стали совсем как небо, он умер. После похорон пришла жена дяди Саши первого и сказала:

– Нечего вам тут! Идите отсюда.

И они с мамой поехали в деревню, где мама жила когда-то. Шли долго. Помнится, перебирались через глубокий овраг, заболоченный ручей. Мама почему-то спешила и тянула Наташу за руку. Возле черной избы с заколоченными ставнями мама остановилась. Вокруг торчали обгоревшие стволы деревьев, и трава была по пояс и совсем зеленая. Мама сказала:

– Здесь мы жили. Теперь придется у людей угол снимать.

Тут Наташа увидела старые качели, все обуглившиеся, черные, и захотела немного покачаться, но мама крепко взяла Наташу за руку и повела отсюда прочь.

В деревне они с мамой стали жить у дяди Саши второго, у которого ноги не ходили, и мама за ним ухаживала. Мама и дядя Саша второй тоже пили, но теперь уже горькую водку. Так Наташа потом на суде и сказала. А мать сжала кулаки и закричала на нее, и тогда судьи приписали Наташу к отцу, который к тому времени уже вышел из тюрьмы... Это было так давно, что Наташа уже и не помнила маму. Ну, разве что ее светлые волосы и низкий, хрипловатый голос...

Наташа вглядывалась в снежинки за окном, и тут одна из синичек села на раму и постучала клювом по стеклу. В клюве у нее что-то было, какой-то клочок бумаги. Точно такие узкие бумажные полоски птички часто отрывали со столба возле интерната, на который потерянные мамы приклеивали свои объявления. Наташе даже почудилось, что синичка спрашивает ее: «Кому дать? Кому дать?»

– Мне, – ответила Наташа и открыла форточку.

Синичка прыгнула на оконницу, и прямо в Наташину ладонь упала бумажка с подтеками расплывшихся чернил.

Написанные на ней буквы прыгали, наскакивая друг на друга.

– Лер-мон-то-ва, один... – прочитала Наташа.

Цифра, написанная за единицей, совсем расползлась, но Наташа почему-то решила, что это цифра семь.

– А где это, Лермонтова, семнадцать? – спросила она Федоровну.

– У нас такой улицы нет. Это где-нибудь в городе. Подо-

жди, вот Толя из командировки вернется, у него спросишь, он знает, – ответила Федоровна.

Но Наташа вдруг почему-то подумала о том, что это адрес ее мамы. А иначе зачем синичка принесла ей эту бумажку?!

Она вспомнила, что, после того как интернат закрыли и детей распределили по опекунам, какие-то женщины еще долго приходили к этому столбу и вешали объявления. Однажды Наташа сорвала такую бумажку, но на ней был нарисован кот, которого потеряли.

Наташа закрыла глаза и увидела перед собой женщину с соломенными волосами, говорящую хрипловатым голосом: «Доченька!»

Сжав в кулаке бумажную полоску, Наташа прошептала:

– Мама!

Этим утром Федоровна лежала на кровати, то и дело повторяя:

– Как же ты без меня будешь?

Правда, к обеду она, охая и тяжело вздыхая, все же

поднялась и даже сварила щи.

И тут Наташа впервые почувствовала тревогу: «А что если Федоровна помрет? Как я тогда? Надо скорей ехать искать маму. У меня же есть ее адрес!»

Накрыв Федоровну одеялом, Наташа села рядом и сложила руки на коленях. Федоровна то и дело открывала глаза, словно проверяя, здесь ли она, вздыхала, что-то бормотала себе под нос. Из глаз у нее то и дело катились слезы, но какие-то маленькие и мутные...

Как только Федоровна уснула, Наташа оделась и поспешила на железнодорожную станцию.

Сидя в вагоне электрички, Наташа смотрела в окно, и ей становилось не по себе от широких снежных просторов, редких черных изб, покрытых большими белыми шапками, от одиноких людей, смотрящих на бегущую мимо электричку. Когда Наташа переводила взгляд на пассажиров, ей казалось, что все на нее смотрят с осуждением, неодобрительно качая головами. Тогда Наташа быстро опускала глаза и пыталась вспомнить мамино лицо, но ничего, кроме копны светлых волос, не могла вспомнить...

Если в вагон входила какая-нибудь женщина, Наташа думала: «А вдруг это мама?» – и пристально вглядывалась в

нее, в ее волосы, если, конечно, те можно было разглядеть за шапками и воротниками. . .

Город напугал Наташу. Низкие темные дома, грязный снег, редкие фонарные столбы, тихо, пусто. На площади перед зданием вокзала стоял красный фургон с надписью «Пицца», на котором был нарисован веселый повар в белом колпаке, тянувший Наташе большую, чуть подрумяненную пиццу с ломтиками ветчины, кусочками грибов и еще чем-то, Наташе не известным. Она вдруг уловила в морозном воздухе запах свежего хлеба. Проходивший мимо мужчина в длинном черном пальто и шляпе с широкими полями, почти закрывавшей его лицо, мельком посмотрел на Наташу, и от его взгляда девочке стало не по себе.

Наташа шла вдоль унылой одноэтажной улицы с темными окнами, шла, засунув руки в карманы, и влажными от волнения пальцами сжимала в руке бумажку с адресом и кусочек сахара, который вынула из сахарницы, едва только Федоровна заснула. Сахар Наташа взяла потихоньку, чтобы Федоровна не заметила.

«Конечно, – думала она, – Федоровна ничего бы и так не сказала. Но удивилась бы, зачем мне сахар в карман. Подумала бы, что я куда-то собралась или мне опять плохо и надо вызывать „скорую“, делать мне укол. А если б я ей сказала,

что это синичка мне принесла мамин адрес и мне надо ехать, то нахмурилась бы и не отпустила меня... И все же что я скажу маме, когда увижу ее? А что если она меня до сих пор не простила и будет кричать как тогда, на суде? Но ведь тогда я была еще маленькая и глупая. Лермонтова, семнадцать, Лермонтова, семнадцать...» – повторяла она про себя.

Табличек с номерами домов ни на одном не было, прохожих, которые могли бы подсказать, – тоже.

На привокзальной площади ей, правда, пытались объяснить, как пройти на улицу Лермонтова, но Наташа так волновалась, что толком ничего не поняла. То и дело Наташа останавливалась возле огромных рекламных щитов. Она видела их впервые. На одном из них была изображена женщина с распущенными волосами, в красном платье. В руке у нее был микрофон, который она держала как эскимо, собираясь не то лизнуть, не то откусить от него. «С песней по жизни!» – по слогам прочитала Наташа и все смотрела на женщину, на ее голые руки и шею. Смотрела скорей с удивлением; зачем она здесь, почему? Нет, эта красавица попала сюда по ошибке. «А может, она специально явилась сюда, чтобы кого-то обмануть? – вдруг подумалось Наташе. – Но разве такие красавицы обманывают?» Послышался гул мотора, Наташа повернулась и увидела все тот же фургон «Пицца». Повар опять протягивал ей нарисованное лакомство, и Наташа нахмури-

лась, еще крепче сжав в ладошке кусочек сахара. Она бы уже давно съела этот сахар, но он был ей нужен не для еды, и она терпела...

Незаметно стемнело. Наташа уже почувствовала знакомую слабость, у нее кружилась голова. Стало холодно и немного страшно. Она думала: «Федоровна, наверно, уже волнуется».

Кто-то шел ей навстречу и пристально смотрел на нее из-под широких полей своей черной шляпы. Странно, это был тот же самый мужчина в длинном пальто, которого она уже встречала в этом городе. И тогда он тоже шел ей навстречу.

– Ты что, кого-то ищешь? – строго спросил он.

– Нет, – испуганно ответила Наташа, и ее рука до судороги сжала бумажку с адресом и кусочек сахара.

– Нехорошо говорить неправду!

Мужчина стоял и в раздумье смотрел на нее. Наташа опустила голову и быстро пошла вперед.

В палисаднике одноэтажного дома с обвалившейся штукатуркой Наташа заметила женщину с лопатой. Та, в оран-

жевом жилете, платке, из-под которого лезли в лицо волосы, очищала дорожку от снега. Махнув несколько раз лопатой, женщина закашлялась, достала сигареты, зажигалку, закурила, сделала несколько глубоких затяжек. Закашлялась глубоко, со звоном. Потом, в изнеможении погасив сигарету о сучок дерева, убрала окурок в карман и принялась вновь монотонно отбрасывать снег. Вероятно, почувствовав на себе Наташин взгляд, она замерла и медленно повернулась.

– Кого тебе? – спросила она грубым, хриловатым голосом.

– Маму, – тихо выдавила из себя Наташа.

– Здесь нет никакой мамы, – раздраженно сказала женщина.

– А Лермонтова здесь есть? – почти прошептала Наташа, вынула из кармана руку и разжала ладонь, чтобы показать бумажку с адресом. Оплывший кусочек сахара тут же упал и глубоко провалился в снег. Но Наташе было теперь не до него. Она увидела, что буквы на бумажке совсем расплылись, так что не осталось ни одной, и ей вдруг стало ясно: теперь никто не поверит в то, что синичка принесла ей адрес мамы и что она, Наташа, ее дочка. И Наташа заплакала.

Женщина отвернулась и стала опять закуривать, но теперь у нее дрожали руки и огонек все время гас.

Втянув голову в плечи, Наташа побрела прочь, чувствуя слабость и волнами подкатывающую к горлу дурноту. Ноги подкашивались, и Наташа боялась упасть. Сейчас ей нужно было остановиться и за что-нибудь ухватиться, но всюду лежал только снег...

Навстречу ей шел прохожий. Это был все тот же мужчина в длинном черном пальто и широкополой шляпе, под которой не было лица – одно только черное пятно. Мимо проезжей части почти бесшумно полз фургон «Пицца», а сама Наташа словно плыла по воздуху. И ей было очень плохо.

Она вдруг села на снег и тихо, одними губами позвала:

– Мама...

– Девочка, что с тобой? – крикнула женщина с лопатой. Голос слегка дрожал.

– Ничего, – шепотом, не оборачиваясь, ответила Наташа, продолжая всхлипывать.

А мимо все ехал и никак не мог проехать фургон «Пиц-

ца», и мужчина без лица все шел на нее, раскачивая свое длинное черное пальто, и Наташа уже слышала, как ее мама говорит ей:

– Наташа, доченька...

Мир хрупок

С тех пор как этот несносный ребёнок появился в их квартире, жизнь пошла кувырком.

Он разбрасывал игрушки, всё хватал, портил, утаскивал понравившиеся ему вещицы в какие-то свои потайные норки, на подушках – плотах плыл с мечами и кинжалами в погоне за пиратами, протыкал коробки, обивку входной двери, сражая наповал невидимых для взрослых неприятелей, превращал в батут кровати и диваны, разливал компоты, размазывал варенье да мало ли что ещё. Сожалеть о таких малостях как стулья, обивка которых в очень короткий срок из мягко-серой, приятной на ощупь велюровой ткани превратилась в липко-серую субстанцию с разводами абстрактных картин, было бы просто глупо.

Бедные гости! Прежде чем присесть к столу, каждый из них задумчиво осматривал стулья и только потом, скрипя сердце, как-то бочком садился на какой-нибудь краешек си-

дня. Особенно страдали дамы. Одна из них, обладая явно креативным мышлением, приходила в гости в широкой цыганской юбке и, опускаясь на стул, всегда поднимала её над сиденьем. Она полагала, что лучше испачкать колготки или трусики, чем платья или юбки, купленные в зарубежных поездках по Италии и Франции.

Мечта о новых стульях не покидала хозяйку этой некогда весьма уютной и чистенькой квартиры.

Каждый вечер, садясь на стул с картиной известного мастера, она бросала молящий взгляд на любящего супруга. Увы, поглощенный новыми играми на новом планшете, муж совершенно не интересовался стульями и не обращал внимания на выражение глаз жены.

Но однажды, вспомнив, что у дамы его сердца приближается юбилейная дата и, очевидно, она захочет пригласить гостей, решил...

Купленные стулья, ножки отдельно, сиденья и спинки также, словно занимательное Лего, надолго отвлекли хозяина дома от его обычных привязанностей. Закрыв дверь от подрастающего поколения на все возможные замки, включая ручку от швабры “Золушка”, он колдовал. Довольная жена с любовью поглядывала на супруга и поглаживала нежную

кожаную обивку, надеясь, что стулья надолго сохранят свой первозданный вид. Она думала, что их гладкая поверхность будет легко очищаться водой и прочими моющими средствами. Она думала, как приятно будут обрадованы гости, когда им предложат новенькие, все как на подбор итальянские стулья, как комфортно разместятся за праздничным столом.

И вот стулья расставлены вокруг стола...и вдруг..."Золушка" падает, двери распахиваются. Розовощёкий и довольный возвращается с прогулки внук. В руках у него подобранные на улице палки. Вооружён и очень опасен...

С наслаждением и яростью он втыкает воображаемые мечи в противников.... Увы, не подготовленные к сече враги, не могут оказать должного сопротивления. Сидения издают тихие звуки и лопаются. Одно, другое, третье...

Вошедшая за ребёнком мама тихо, с ласковой грустью и полуулыбкой на уставшем лице тянет:

– Матюша...

Хозяйка отворачивает голову и что-то сосредоточенно разглядывает за окном.

Отец ребёнка гневно вспыхивает:

– Матвей!

Хозяин дома, оторвавшись от любования итальянским дизайном, берёт внука за руку и, обладая неоспоримым авторитетом у малыша, уводит его из комнаты.

Не проходит и минуты, как они возвращаются.

Ребёнок подходит к бабушке, берёт её за руку и говорит:

– Прости, пожалуйста. Мне дедушка объяснил, и я теперь знаю, что мир хрупок.

Трофеи

Маргарита Владимировна стояла у окна, с тревогой ожидая Надю: ругала себя за то, что дала волю немоци и не пошла с внучкой в магазин. Она боялась, что к Наде опять пристанут мальчишки, будут смеяться над ней, обижать. Надя, которая и в раннем детстве была упитанной и крупной девочкой, за последний год изменилась, грудь у нее выросла так, что вся одежда оказалась мала и даже зеленое, в разноцветный горошек платье, недавно купленное на вырост, с трудом вмещало новое Надино тело. Надя не понимала, что она уже не девочка, но и не была готова считать себя жен-

щиной: по-прежнему ходила, загребая ногами, давала сдачи мальчишкам, усаживаясь перед телевизором, жевала булочки, конфеты или просто куски хлеба, посыпанные сахаром. Одно время Маргарита Владимировна просила Надю не есть столько сладкого, пыталась объяснить ей, что это вредно для здоровья, да и денег у них на лакомства нет. Но убедить в чем-то Надю, которая всегда настаивала на своем, она, конечно, не могла, знала, все обязательно закончится истерикой: сначала Надя заплачет, потом закричит, повалится на пол, начнет стучать ногами, биться головой. Ее лицо, и без того некрасивое, станет звериным, изо рта потекут слюни, потом Надя потеряет сознание, и тогда скорая, уколы...

По-прежнему вглядываясь в просвет между домами, думала Маргарита Владимировна о том, как в такой благополучной семье могла родиться больная девочка. И еще она думала о том, что скоро не сможет уберечь Надю от дворовых мальчишек, которые когда-нибудь уволочут ее в какую-нибудь подворотню... И вообще, как Надя будет жить, когда Маргарита Владимировна жить уже не будет?

Наконец увидев за окном Надю, Маргарита Владимировна поспешила к входной двери. Открыла замок и вышла на лестничную площадку, глядя в пролет. Поднимаясь по лестнице, Надя громко, с одышкой дышала. Но лифтом она не пользовалась, боялась. Кажется, это было единственное, в

чем Маргарита Владимировна сумела убедить внучку. Хотя, конечно, тут помог случай: как-то Надя с бабушкой застряли в лифте между этажами и просидели в нем несколько часов. Теперь Надю беспокоило даже его приближение.

Увидев бабушку, Надя радостно забасила:

– Все, ба, хватит копейки считать. На работу устраиваюсь. Какой-то мужчина, спускавшийся с верхнего этажа, с усмешкой посмотрел на них.

– На работу? Да кто же возьмет инвалида на работу?! – возопила Маргарита Владимировна, одновременно испуганно глядя на незнакомца и уже подталкивая Надю к двери. Ей вдруг стало очень холодно, и на какое-то время она будто остолбенела: перед ней вставала проблема, с которой она не знала, как справиться.

– Халид с рынка! – Надя протянула бабушке руку, согнутую в локте. – На, пощупай мои мускулы.

И тут же принялась взволнованно-радостно рассказывать о том, как она зашла на рынок и стояла там возле прилавка с выпечкой, глядя на булочки. И как к ней подошел важный толстогубый толстяк и спросил, любит ли она сладкое, потом велел одному молодому парню дать ей всякой сдобы с собой

и пригласил завтра выходить на работу.

– Ба, ставь чайник. Сейчас поедим! – возбужденно почти кричала внучка, и Маргарита Владимировна уже боялась, как бы у Нади не начался припадок.

Стараясь не показывать внучке свой страх, как всегда, спокойно Маргарита Владимировна сказала:

– Надюша, он пошутил.

– Да ну тебя! Всегда ты так, – нахмурившись и топнув ногой, сердито сказала Надя.

И по лицу Нади сквозняком прошла первая судорога.

Маргарита Владимировна, конечно, знала, сколько ни говори, ни убеждай внучку, все будет только раздражать Надю, поэтому с упавшим сердцем, думая только о том, как бы не разрыдаться, прошла в свою комнату, там легла на постель и, уткнувшись в подушку, тихо заплакала. Она слышала, как за стеной шумел чайник и ее внучка напевала что-то веселое.

Маргарита Владимировна проплакала всю ночь. Она понимала, что не сможет теперь уберечь Надю от этой жизни. Она давно свыклась со своей долей, с тем, что уже десять

лет живет без мужа, дочери, с больной от рождения внучкой. Привыкла к тому, что раз в год ей приходится ходить в органы опеки и выкупать там Надю, вкладывая в карман инспекторши скромный конверт с деньгами. Давно примирилась с тем, что в этой новой жизни, которая совсем немногих озолотила, убив при этом многих, для нее не осталось ничего более-менее ценного от той старой жизни, которая, может, и казалась порой скудной, но всегда воспринималась Маргаритой Владимировной как счастье.

И теперь здесь у Маргариты Владимировны оставалась только Надежда. Она была в ее жизни всем: последней любовью, последней радостью и вообще последним, ради чего ей стоило, нет, ради чего она была обязана жить и ради чего она клеила вечерами бесконечные коробочки для какой-то компании, надеясь получить добавку к пенсии и как-то избежать интерната, в который социальные теткы пытались упечь Надю.

Но здоровье Маргариты Владимировны становилось все хуже. Участковая врачиха, которую нет-нет да приходилось вызывать на дом, забегала ненадолго, да и то все больше ругала Маргариту Владимировну за то, что та не оформляет Надю в интернат. Отказывалась от коробки конфет, которую Маргарита Владимировна берегла на всякий случай, ухмыляясь бросала взгляд на обрывки картонных заготовок, ко-

которые уже вечером должны были превратиться в коробочки для лекарств. Только складывать да склеивать заготовки Маргарите Владимировне становилось все труднее. Надя же такую тонкую работу и вовсе делать не могла и, когда бабушка просила ее помочь, только злилась да кричала, а однажды даже ударила ее по лицу.

В эту ночь Маргарита Владимировна не смогла уснуть. Слышала, как у Нади опять до утра работал телевизор, слышала пьяные крики с улицы, шум проезжавших под окном машин, потом лай собак, грохот мусорных баков, воющие звуки автомобильной сигнализации и плач детей, которых родители тянули в детские сады. И все думала о том, как уговорить Надю не идти на рынок. И сна совсем не было, а если он и приходил, прогоняла, потому что главное теперь было – не пустить Надю туда. Но как?! Взять и умереть перед ней? Под утро она все же забылась на несколько минут, но тут же проснулась и сразу, испугавшись тишины в квартире, бросилась в комнату внучки. А там – лежащее на полу одеяло, разбросанные фантики от конфет, огрызки яблок...

«Не удержала!» – охнула Маргарита Владимировна.

Не зная, что ей теперь делать, Маргарита Владимировна ходила по квартире, то и дело заглядывая в комнату к Наде, словно она там могла вдруг найтись где-то за тумбочкой.

Неожиданно ее взгляд упал на стену. Оттуда с фотографии смотрел на нее улыбающийся муж, еще в военной форме. Кажется, это фото было сделано в сорок пятом... И тут она кое-что вспомнила. Из кухни принесла табурет, на него поставила стул и кое-как вскарабкалась на него. Открыла антресоли и принялась скидывать на пол какие-то кульки, тряпки. Наконец нашла что искала, кое-как слезла на пол. Прижимая к груди завернутый в пожелтевшую газету сверток, вошла в кухню, там развернула. Мелькнула фотография Сталина в траурной рамке. Небольшая, белого металла коробочка, доверху заполненная некогда ценными, а теперь никому не нужными иголками для швейных машинок. Это был свадебный подарок мужа. Маргарита Владимировна погладила блестящую поверхность коробки, потом принялась что-то искать на ней. «Если серебряная, должно быть клеймо», – думала она. Не найдя никаких отметин на коробке, взяла с подоконника свежую газету, одну из тех, которые запихивают в почтовые ящики вместе с рекламными листками, и увидела лицо молодого мужчины, поразившее ее решительным взглядом стальных глаз и волевым подбородком. «Голосуйте за Навального!» – прочитала она. Обернула в эту новую газету коробочку, оделась и вышла из квартиры.

До рынка было недалеко, через сквер минут пятнадцать. Но Маргарита Владимировна шла долго, потому что дыхание то и дело прерывалось, а сердце стучало так громко, что

прохожие то и дело бросали на нее удивленный взгляд. Она уже подходила к рынку, когда мимо нее, заполняя собой всю проезжую часть, прокатил черный автомобиль. Ей даже пришлось отойти в сторону. Из машины вывалился приземистый пузатый мужчина, несший себя вперед как абсолютную ценность, и Маргарита Владимировна почему-то сразу поняла, что это и есть Халид. Мужчина вяло махнул рукой шоферу и нехотя вошел в здание рынка.

А Маргарита Владимировна вдруг ощутила такую вялость, что не могла бы теперь сделать ни шагу. Однако там была ее внучка, и Маргарита Владимировна все же открыла дверь.

За одним из прилавков она сразу увидела Надю и рядом с ней кривлявшегося паренька лет восемнадцати, с густой челкой на глазах, который все пытался схватить Надю за грудь и при этом громко смеялся. Надя отталкивала его и что-то кричала, впрочем, не сердито. Маргарита Владимировна была готова уже броситься внучке на помощь, схватить ее за руку и утащить с рынка, но вместо этого решительно направилась к Халиду. Почувствовав на себе чей-то напряженный взгляд, Халид занервничал, но, увидев старую женщину, внимательно смотревшую на него, только сказал:

– Чего надо, уважаемая?

– Вот, возьмите, – жалко улыбнувшись, сказала Маргарита Владимировна и протянула коробочку Халиду. – Это у меня от мужа осталось. С фронта трофеей привез. Она серебряная, вы только клеймо поищите. Раньше это очень ценилось. Больше у меня ничего нет. Это вам... за Надю. Прошу, не обижайте ее.

Будто вспоминая что-то, Халид смотрел на коробочку, потом взял ее из рук Маргариты Владимировны и открыл. Завернутые в чуть просвечивающий пергамент, перед ним лежали швейные иглы. Точно такие, какими шила мама Халида, вынимая их из такой же серебристой коробочки. «Халид, смотри. Твой отец с войны привез!» – любила повторять она, улыбаясь при этом как-то особенно счастливо. И Халид уже почувствовал запах свежей лепешки с ароматом печного дыма, уже видел, как мать, молодая, с гордо откинутой назад головой, сидит у окна с этой коробочкой на коленях и смотрит куда-то вдаль. Он видел голубое небо, рыжую гору над аулом – где-то там теперь лежали его отец и мать. Кровь медленно схлынула с лица Халида... Когда он пришел в себя, старой женщины рядом уже не было. А ему хотелось сказать ей сейчас, что все будет хорошо, что он, конечно, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах... Но за прилавком со сдобой стояла с некрасивым лицом и безумными глазами девочка в зеленом, с разноцветным горохом платье и изо

всех сил отталкивала от себя его шкодливого племянника.

Флэшмоб

После того как Олимпиада Ивановна вышла на пенсию, никаких особенно важных дел у неё не наблюдалось. Ну, забрать внука из школы, покормить обедом, помочь с уроками. Только ей всё почему-то казалось трудным...

Дождаясь, пока молодая, но строгая Учительница выпустит детей на волю, Олимпиада Ивановна то прохаживалась, то пыталась по-птичьи примоститься на металлическое ограждение газона. Обычно, стоявшие рядом с ней взрослые, встретив своих чад, отправлялись по домам, учительница продленной группы, расставив детей парами, отводила их в соседнюю школу, а она всё ждала, ждала. Иногда, на опустевшей перед школой площадке, оставалась одна и вот тогда-то из дверей, не глядя по сторонам, выходил внук. Его растерянный и помятый вид говорил о чём-то удручающе-неприятном и ей становилось ясно, что сейчас придётся пройти мимо злобного охранника, который не имеет права пропустить в здание не только бабушку, но и осеннюю муху, жужжащую у его уха. Просить, упрасивать, объяснять, выслушивать, подниматься по лестнице, искать нужную дверь, робко заглядывать и негодовать про себя на нерадивого внука, который ну просто хуже всех, что, если он когда-нибудь и найдёт себе приятелей, то сами понимаете каких... Ребёнок

же будет упорно молчать, не желая отвечать ни на одно почему и отыскивать ту самую муху, которую упустил охранник.

Казалось бы, умудрённая житейским опытом Олимпиада Ивановна, должна воспринимать ситуацию смиренно: ну, что она, старая, может, если ничего не может... ни книжку ребёнку прочитать, ни уроки проверить. Не даны ей полномочия: она ни его бабушка, она папина мама...

Как-то ясным весенним днём, подойдя к школе, Олимпиада Ивановна заметила бОльшую, нежели обычно суету. Безусые или с пушком над верхней губой юноши с грохотом стаскивали по ступенькам школы столы и выстраивали их рядами. За ними, прижимая кипы книг, выпорхнули полу девочки, полу девушки, в юбочках и платицах, ставших им к концу учебного года явно не по размеру. Вышли педагоги, взгляд которых плыл, утверждая себя над толпой. Прибыли крупногабаритные представительницы Торговых домов, выискивая глазами платёжеспособных мам и бабушек. За ними, угодливо согнувшись в талиях, несли коробки узкогрудые продавцы. Всё шумело, книжилось и множилось, прибывавшими домочадцами младших школьников. Каждый приходил со своей стопкой книг. Растроганная Олимпиада Ивановна, с детства восторженно относясь к каждой, даже самой крохотной книжонке с заплатками и засалинами, с трудом сдерживала слёзы... Столов не хватало, места на школь-

ном дворе тоже. Как поняла старушка, суть мероприятия сводилась к тому, что, сдав свою любимую книжку, ученик мог получить талончик, по которому ему полагалась бесплатная книга бывшая в употреблении или право на покупку новой, со скидкой. Старшекласники и старшекласницы, покрутившись для приличия у столов, озираясь по сторонам, завернули за угол школы, где проведение мероприятия не предусматривалось, а малышня, особенно первые и вторые классы, под бдительным взором учительниц, толкались у столов с книгами. Задирая голову, Олимпиада Ивановна переводила взгляд из стороны в сторону, но не находила ни внука, ни его учительницу. На какое-то мгновение, заметив мелькнувшую ярко-рыжую копну веснушчатого мальчика, одноклассника внука, Олимпиада Ивановна обрадовалась. Значит, и её где-то здесь. Когда же толпа начала редеть и взрослые, подхватив детские рюкзаки и мешки со сменкой, с умилением глядя на своих внучат, потянулись за школьную калитку, она испытала лёгкое недоумение: где же её то. Засуетилась. Пересекла школьный двор, обошла столы, как ищейка обнюхала все группки, теснившиеся вокруг входа в школу и вдруг под школьными окнами, в тени разлапавшегося каштана, увидела, какую-то особенно важную, в тёмно-синем костюме Учительницу внука.

Подобострастные мамы и бабушки, улыбаясь, стояли вокруг неё. Рядом, выстроившись парами, ученики первого

“Г”, того самого, к которому был приписан внук. Но, как ни вглядывалась Олимпиада Ивановна в сорок с лишним ребячьих лиц, того, кого она так усиленно искала, не нашла.

– А мой-то где? – надев, как ей казалось, вполне приличное выражение на лицо, спросила как можно дружелюбнее Олимпиада Ивановна.

– Я-то откуда знаю, – недовольно бросила Учительница, – их вон у меня сколько. А ваш... – и, прошипев сквозь зубы что-то ещё, отвернулась, улыбаясь другим мамам и бабушкам.

Испытав обиду и горечь, едва сдерживая трясущиеся губы, Олимпиада Ивановна продолжила поиски. Взглянув на стройные ряды фотографирующихся на школьных ступеньках учеников во главе с учительницей и председательницей родительского комитета, она понуро бродила по школьной территории, не зная, что же предпринять дальше.

И вдруг её потухший взгляд натолкнулся на кучку детей и взрослых. Сначала она обратила внимание на восхищённую пожилую даму, потом на устремлённые куда-то взоры детей. Одна из девочек, стоявшая рядом с дамой, очевидно, её внучка, сияя лицом, смотрела на... её внука. Разгорячённый, он оживлённо говорил что-то, открывая книжку, ко-

торую недавно ему купила Олимпиада Ивановна, показывал картинки и, закончив, протянул девочке, которая по-прежнему, во все глаза глядела на него.

– На, возьми, я её уже прочитал. Возьми, пожалуйста. Это очень хорошая книжка, моя любимая.

– Тебе не жалко? —спросила дама. – И тут же добавила, – мы с внучкой читаем и тебе отдадим. Хорошо?

Внук кивал головой и выглядел очень счастливым...

До поворота шли вместе. Впереди внук Олимпиады Ивановны и девочка, за ними ещё несколько детей. Сзади Олимпиада Ивановна и пожилая дама, бабушка девочки. У поворота расстались, и энергичные, радостные шаги внука постепенно стали медленнее и тяжелее. Олимпиада Ивановна пыталась приободрить внука, но, казалось, он не слышал её. Опустив голову, он брёл своей обычной походкой, загребая ногами и отыскивая что-то на тротуаре.

Подростки и тинейджеры

Саша приготовился засвистеть. Соединил кольцом большой и указательные пальцы и уже поднёс руку ко рту, чтобы, загнув ими кончик языка, издать призывный звук, но тут на крыльцо дома, рядом с которым он стоял, вышел старик. Мальчик знал, мама ему ещё вчера сказала, что свистеть в

присутствии взрослых неприлично и, что если ему так необходимо, то лучше всего это делать где-нибудь подальше. Поспешно разжав пальцы, он ухватился обеими руками за руль, перекинул ногу через седло и, резко развернувшись, понёсся вверх по деревенской дороге. Он не видел, как старик недовольно посмотрел ему вслед, внимательно оглядел отгороженный слегами палисадник и, заметив у скамейки не убранное эмалированное ведро, унёс его на веранду, полагая, что там оно будет в большей безопасности. Проехав по улице до дома с разноцветным штакетником вокруг палисадника, Саша развернулся и поехал обратно. Он миновал поворот на околицу, проехал мимо дома, где на лето поселились они с мамой и братом, его тётушки со своими дочерьями и, приехавшие время от времени, главы семейств, отдающие в городе свои жизни творчеству и отечеству... Мальчик опять предстал перед домом со слегами. На этот раз он решил не слезать с велосипеда, а засвистеть на ходу, но это у него почему-то не получилось, и он врезался в песчаную яму, около которой часто играл его брат.

Сейчас же малыша увели на обед, и он посапывал в кроватке, а мама, уставшая от готовки в непривычных дачных условиях, дремала, время от времени, приоткрывая глаза и отгоняя от разомлевшего ребёнка, комаров и мух. Для Саши это послеобеденное время было самым ценным. Он уже вырос из того возраста, когда полагался обязательный после-

обеденный отдых и не отличался такой дисциплинированностью, как его двоюродная сестра Наташа, записавшая Сашу в пажи. А потому, как только стихали разговоры, звяканье ложек, вилок, он хватал велосипед, любимый синий “Орлёнок”, из которого давно вырос, и мчался к тому дому, где жила Ирочка.

Обычно он вызывал её свистом, и девочка тут же выводила из сарая свою бежевую “Ласточку”, и они мчались с горы на край света, который заканчивался мягкой прохладой лесных далей. Там, забравшись на помост из срубленных деревьев, Саша, забыв о своей стеснительности, рассказывал о любимых книжках, о маме Вере, которая всегда плачет, провожая папу на испытания, о своём разноцветном мире, в котором золотое, солнечное, всегда прилегает к лазурному и ярко-зелёному.

– А ещё, – сказал как-то Саша, открывая девочке самую горькую тайну, – я никогда не буду лётчиком, потому что у меня врождённый порок сердца.

Ирочка, выросшая среди сухопутных родительских специальностей, не понимала этой печали, ввевшейся на всю жизнь в Сашино сердце, так же как не понимала коварства курносенькой, с ямочками на щёчках и кокетливыми локонами по обеим сторонам круглого личика, Наташи. Ирочка

доверчиво полагала, что намёки Наташи о какой-то другой девочке, облюбованной Сашей, не лишены правдивости, а потому Саша оставался для неё просто хорошим товарищем. К тому же Наташа, на правах двоюродной сестры, доверяла Саше прохладными вечерами свою разноцветную накидку и, склонив голову на бок, просила накинуть её на плечи, а потом томно тянула:

– Спа-а-сибо, – и, оставшись с девочками, особенно если среди них находилась Ирочка, часто повторяла, что любимое занятие Саши, когда она остаётся с ним наедине, играть её локоном и печально смотреть куда-то в сторону.

Не будь всего этого, а также, если б Ирочка знала, что чуть поникшую веточку сирени, которая по утрам встречала её на крыльце, приносил Саша, преодолевая страх перед строгим худым стариком, будто специально высматривавшим его за кустами, отделявшими палисадник от дороги, она бы относилась внимательнее и к нему и к его рассказам. А так что? Сплошное мальчишество.

– Ты, – говорил Саша Ирочке, – смотри как надо свистеть. Можно ещё четырьмя пальцами. Указательный и безымянный одной руки соединить и скрестить с двумя пальцами другой. Ну, давай же, давай. Теперь загибай ими язык и дуй, дуй сильнее. Вот молодец!.. Я же говорю, обязательно полу-

чится.

А бывало и так: сидя на сложенных у соседского дома брёвнах, Саша мастерил лук и стрелы и неспешно поучал Ирочку:

– Если ты хочешь, чтобы стрела летела высоко и ровно, надо не только хорошенько обстругать наконечник, но и аккуратно вырезать паз, вот смотри как я.

Небольшим перочинным ножичком с перламутровой ручкой он искусно делал зазубрину на стреле и, полюбовавшись, передавал Ире.

Однажды за этим занятием их застала Наташа. Постояв немного и посмотрев на увлечённую творчеством парочку, она презрительно хмыкнула:

– Детский сад! Вам что больше делать нечего, – и, тряхнув своими милыми кудряшками, ушла в сад...

Это лето для семьи Саши и его близких было необычным: мама Вера и её сёстры впервые решили провести лето вместе. Когда-то Вера, Надя и Люба очень дружили, но после того, как вышли замуж, поскучав какое-то время друг без друга, привыкли и лишь изредка перезванивались по телефону

и один-два раза в году встречались на семейных праздниках. На одном из таких сборищ Вера, самая из них чувствительная и нежная, посмотрев на сестёр и их уже повзрослевших дочерей, сказала:

– Как жаль, что наши дети друг с другом почти не видятся. Помните, как было хорошо вместе?

Надя, моложе своих сестёр и на подъём легче, тут же отозвалась:

– Надо летом пойти всем вместе в поход, с палатками, гитарой.

Располневшая Вера, у которой младшему только-только исполнилось два года, ответила:

– Ну, это уж без меня. Куда мне с Андрюшкой, да и ноги... Ты что забыла? У меня же вены.

Спустив очки и, глядя поверх их, Люба, самая старшая и правильная, произнесла:

– Дачу надо снять. Там тебе и гитара, и костёр. А надоест, поедем на море или в Комарово.

Предложение всем понравилось.

Им удалось снять большую дачу с тремя отдельными входами, двери которых открывались в яблоневый сад. Ближе всех к калитке поселилась Вера с мальчишками: Сашей, двенадцати лет, и Андрюшей.

За ними, веранда и две комнаты – Люба с Наташей.

В самом конце сада, там, где открывался вид на озеро и лес, примостилась крошечная открытая терраска и такая же комнатка. Её облюбовала себе, мужу и дочке Надя. Она не собиралась томиться всё лето на даче и вкладывать деньги в какой-то сомнительный проект, от которого никакого удовольствия, одни лишь пустые хлопоты: переезд с подушками и кастрюльками, воскресное лицезрение одного и того же пейзажа. Но откалываться от сестёр ей не хотелось поэтому выбрала, как теперь говорят, самый бюджетный вариант. Её дочка, тринадцатилетняя Катя, отличалась от двоюродного брата и сестры. Те, домашние, жмущиеся к мамкам, предпочитающие протоптанные тропинки и озёрное мелководье, не соответствовали её размаху далёких бездорожных походов и глубоководных заплывов классическим брасом. Она всерьёз занималась плаванием, часто и надолго уезжала на спортивные сборы, а когда приезжала на дачу, уходила одна вглубь леса и, преодолевая глубокие лесные овраги и болота, воз-

вращалась с букетами ландышей, фиалок, незабудок. Иногда она приглашала с собой Ирочку. Та охотно соглашалась и возвращалась домой, когда домашние, пообедав, собирались к вечернему чаю... В эти дни Саша играл Наташиным локо-
ном...

И всё-таки однажды дети собрались вместе на велосипед-
ную прогулку.

У Кати велосипеда не было: к чему он ей, ради несколь-
ких поездок, да и таскать его туда-сюда её родители не соби-
рались. В то время, когда Саша сутулился над задним коле-
сом Ирочкиного велосипеда, то меняя ниппель, то, пытаясь
надуть шину каким-то почти игрушечным насосом, Наташа
стояла у забора, ревниво оберегая новенькую блестящую ко-
раллом “Ригу” и нетерпеливо, только что ножкой не била,
сердито поглядывая на Сашу, прикусывала кончик развив-
шейся кудряшки. Ирочка стояла рядом с Сашей и, опустив
глаза, внимательно следила за его действиями. Катя, подбра-
сывая ракеткой пластмассовый шарик для пинг-понга, счи-
тала вслух: “Пятьдесят два, пятьдесят три...”. Она знала, что
равных ей в этой игре, как и в плавании, рядом не наблюда-
ется. К сожалению, сосед, хозяин теннисного стола, ещё вче-
ра, глядя на лиловые тучи, убрал его в сарай, да и играть бы-
ло не с кем... Вышедший из калитки красавчик, сын пред-
седателя колхоза, Юра, сразу заметил, что Катя держится в

стороне ото всех и считает вслух громко и нарочито. Он, не спеша, оглядев с достоинством всех присутствующих, развернулся и ... через минуту вывел ярко-зелёного, с не выдохшимся запахом краски, “Туриста”. Катя приняла предложение прокатиться естественно, просто взяла велик под уздцы и поехала, а на щеках у Юры появился нежный румянец, и он стал совсем как красная девица... За Катей покатила Наташа, Саша, передавая велосипед Ирочке, дождался пока бежевая “Ласточка”, поскрипывая, повернула к околице и, в своей излюбленной позе, почти стоя, чуть согнув ноги в коленях, рванул за всеми... Обычно в велосипедных прогулках участвовали и другие дети, но в тот день больше никто к их компании не присоединился, даже Вовка без тормозов, влюбившийся в свой “Тахион” с первого взгляда и не упускавший случая сорваться с места в карьер. Очевидно, всех пугала лилово-синяя туча, висевшая над деревней уже второй день...

Это насупившееся небо, через которое пробивались солнечные лучи, казалось Вере предвестником чего-то страшного и непоправимого. Приглядывая за Андрюшей, катавшего около входа на террасу машинки, она, приподняв длинную юбку, с ужасом смотрела на свои раздувшиеся ноги с фиолетово-синими венами и думала о том, что Виктор обязательно её разлюбит, потому что нельзя любить женщину с такими ногами. “Ну, и пусть, пусть разлюбит, только бы с ним ни-

чего не случилось. И зачем я отпустила в такую погоду детей?” Вера то и дело выходила за калитку, запахивая вокруг шеи ворот накинутой поверх платья кофты и, кажется, была готова к тому, чтобы побежать по следам велосипедных шин, отпечатавшихся на тёплой пыльной дороге. Её тревога усиливалась чувством ответственности за племянниц: сёстры оставили девочек с ней и собирались приехать только в выходные. А туча росла на её глазах и становилась всё темнее и темнее...

Дети же, вереницей ехавшие по просёлочной дороге, будто не замечали надвигающегося ненастья, они переговаривались, смеялись, перегоняли друг друга. Лишь въехав в лес и оказавшись в пугающей темноте, опасливо озираясь, сбились кучкой, поехали рядом, уже молча. Когда выехали на поляну, услышали странный гул, идущий откуда-то сверху и тут же закружило, завертело. От громадной скирды сена, стоявшей на поляне, отрываясь, полетели клочки.

– Сюда, сюда, – закричал Саша, и подбежав к скирде, начал с трудом вырывать из её нижней части сухую, режущую руки, траву. Девочки, побросав велосипеды, сначала недоумённо тарасили на него глаза, а потом, сообразив, стали помогать, изо всех сил дёргая не поддающееся сено. Стараясь сделать себе убежище, щурясь от жёстких уколов колючих стеблей, шелухи, забивающей глаза, подростки, натыка-

ьясь, мешали друг другу. Неожиданно сквозь шум ветра до них донёлся топот. Эхо разносило звук, усиливало его, и Саше показалось, что задрожала земля. Присмотревшись, он увидел за носившимися в воздухе клоками сена, земляной пыли и листьев выбегающих из леса солдат. Их черные сапоги приближались с такой скоростью, что мальчик не успел даже понять произошедшее в следующую минуту. Подбежав к нему, один из них, сильно стукнул Сашу по лицу, мальчик упал, тогда другой солдат поддал ему сапогом. Ещё бы, на их глазах какие-то недоумки рушили скирду, которую они, по неопытности, складывали почти два дня.

“А-а”, – завопила Наташа,

Ира, схватив свой и Сашин велосипеды, побежала к нему.

Что было дальше никто не мог потом вспомнить. Рухнувшая на поляну сосна, упала рядом с ними, придавив кроной скирду...

Пришли в себя не сразу, бешено крутили колёсами, ехали молча, напряжённо вглядываясь в дорогу.

На околице стояла Вера. Саша навсегда запомнил, как мама дрожала тогда всем телом. Отдав велосипед Кате, он повёл маму домой, уложил, лёг рядом с ней. Она вздрагивала и

плакала, как тогда, когда у папы при испытаниях случилась жёсткая посадка. Саше казалось, что он умирает от любви и жалости...

Дети никогда не говорили друг с другом об этой велосипедной прогулке, не рассказывали они о ней и взрослым, но каждый понял, что сделали что-то не то, что-то неправильно...

Утром следующего дня Саша заболел. Началось с того, что ещё в полусне он почувствовал, как его голова, словно приросла к подушке, и он не может даже пошевелить ею и отвернуться от яркого солнечного луча, режущего глаза.

– Сашура, – услышал он нежно-просящий голос мамы, – вставай, пора завтракать. Вот она подошла к нему, и он почувствовал её прохладную ладонь на лбу. Это приятно, Саша хотел бы удержать маму, но та, отдёрнув руку, сунула ему под мышку такой холодный градусник, что озноб от него пробрался по всему телу, мама укутала мальчика и до него донёсся её шёпот:

– Боже, какой горячий...

Вера сбежала в сад, бросилась к племянницам:

– Девочки, присмотрите за Андрюшей, я в медпункт, Саша заболел.

Задыхаясь, стараясь идти как можно быстрее, свернула в проулок, где в тени деревьев белел аккуратненький фельдшерский пункт. Запертая дверь, занавешенные окна. Постучала. Тишина мёртвая. Так, позвонить Виктору. Кажется, в школе есть телефон. Только бы разрешили.

Немые губы выдавливают:

– Пожалуйста, сын заболел. Врача вызвать и мужа...

Да, спасибо. Ах, врача через фельдшера. А Скорую? Ему нельзя болеть, у него сердце. Порок. Виктора Владимировича, пожалуйста. Ах, на испытаниях? Жена. Сын, старший, заболел, передайте.

По дороге домой Вера забежала в медпункт.

– Умоляю, посмотрите его, Мария Петровна.

– Нет, нет, – отшатываясь от Веры строгая фельдшерица с прилизанными тёмными волосами, не спеша, словно через зубы процедила:

– Дачников не лечу. В Москву, в Москву, в Москву...

Вернувшись, Вера бросилась к Саше. Осторожно, стараясь не побеспокоить, приподняв одеяло, достала градусник. Пошатнулась, волнение сжало голову: ртутный столбик, заполнив трубку, почти упирался в её край.

– Мама, принеси, пожалуйста, холодные варежки, – прошептал Саша и повторил уже громче, несколько раз подряд. – Варежки, дайте мне холодные варежки.

Несколько дней температура не спадала. “40, 40,5” – записывала Вера дрожащей рукой на клочке бумаги.

Саша почти всё время спал, лишь иногда, просыпаясь, пил и всё просил холодные варежки. Сквозь черноту сна до него время от времени, доносился мамин голос, иногда он видел, как её фигура то растёт у него на глазах, то становится всё меньше и превращается в еле заметную точку. Несколько раз ему снилась Ирочка, промелькнувшая в бликах золотого и зеленого на своей “Ласточке”, и старик, её дед, грозивший ему откуда-то из-за кустов кулаком. Но чаще всего, и это было так страшно и мучительно, он бежал от громадного валуна, который катился на него. Саша забирался в постель, натянув до глаз одеяло, с ужасом смотрел на медленно открывающуюся дверь, в которую, не спеша, переваливаясь с боку

на бок, горой вваливался этот ужасный камень, готовый раздавить его. И в тот самый момент, когда, заполняя собой всю комнату, валун приближался так близко, что в следующий миг мог бы уничтожить его, откуда-то появлялись папа и мама. С двух сторон они удерживали камень, который останавливался и исчезал. Однажды, очнувшись от этого сна, Саша увидел рядом с собой маму, папу и какого-то незнакомого мужчину.

– Папа привёз тебе врача, теперь тебе станет легче.

– Смотрите, у него же сыпь и вот тут – припухлость. Это корь. После высыпания скоро выздоровеет. Постельный режим дней пять и никакой беготни до конца лета.

– А велосипед? – с испугом спросил Саша.

– Ну, что ты. С твоим сердцем. Лежи, дорогой, лежи. И от физкультуры на год надо взять освобождение, да и со школой не спешить...

Через две недели Саша впервые после болезни вышел за калитку. Кончалось лето, многие дачники уже разъехались. Его сестёр, Наташу и Катю, родители забрали в тот же день, когда он заболел. Вере тогда удалось дозвониться до Нади и Любы, и они с перепуганными лицами, запыхавшись, уже че-

рез несколько часов одновременно влетели на свои террасы, минуя Верину, и лишь переговаривались с сестрой из-за своих картонных перегородок. Андрюшка заболел в самом конце Сашиной болезни, но обошлось без высокой температуры, горящих ладоней и тяжёлых снов, так, поспел немножко. Ирочка, переболев корью в раннем детстве, по-прежнему, каталась на велосипеде и, проезжая мимо Сашиного дома, долго кривила шею в его сторону, но Вера не спускала с сына глаз и не разрешала ему сходить с крыльца...

Бледный, будто и не было лета, Саша медленно вышел за калитку и уселся на брёвна у соседского дома. Проезжавшая мимо Ирочка, затормозила и спрыгнула с велосипеда. Задравшаяся юбка, зацепившись за порванную велосипедную сетку, смутила обоих. Саша опустил глаза, а Ирочка так рванула свою солнце-клёш, что потом как ни зашивала, с любимой вещицей пришлось расстаться.

– Ира, иди пить молоко! – раздалось со стороны дома со слезами.

И Ирочка тут же развернулась и, вцепившись руками в руль, бросилась к молоку с пенками, которого терпеть не могла, так быстро, что Саше оставалось лишь удивленно посмотреть вслед. Сгорбившись, он поплелся к своей калитке.

Прошло несколько дней. Ирочка видела, как блеснув новеньким лаком и серебряным оленем на капоте, проехала “Волга”, на которой обычно приезжал Сашин папа. Заложив страницу в книге отцветшей ромашкой, посмотрела на золотисто-зелёную листву берёзы у скамейки и пошла в сад, где, раскачиваясь на качелях, полетела над землёй, представляя себя то птицей, то стюардессой. “Кто в небе не был, кто ни разу не был, пускай вздыхает и завидует ей”...

А утром, когда она проезжала мимо “Волги”, её остановила тётя Вера.

Нагруженный тюками к машине подошёл дядя Витя, за ним Саша.

– Ирочка, Саша, – сказала женщина, – попрощайтесь друг с другом.

– До свидания, – буркнул Саша.

– До свидания, – откликнулась Ирочка.

– Нет, дети, не так, – сказала Вера, – дайте друг другу руки.

И Саша протянул холодную, ещё не выздоровевшую ру-

ку Ирочке, а Ирочка протянула ему свою, горячую. Солнце, пробивавшееся через листву, погладило детей по макушкам, отражаясь в блестящей поверхности “Волги”, её зеркалах, окнах, серебристом олене, взметнувшем в беге волшебные копытца. Разноцветные искры, одарив рубинами, гранатами, александритами, переливаясь, повисли в воздухе...

Первого сентября в школу Саша не пошёл. На белые передники и банты он грустно смотрел из окна. Однажды, претерпевая природную стеснительность, он решился позвонить Ирочке. Телефон долго не отвечал и вдруг недовольный старческий голос обрушился на него:

– Слушаю Вас.

Испугавшись, мальчик тут же трубку положил, но прошло всего несколько дней, позвонил снова.

В этот раз, набравшись храбрости, он смог отлепить язык от гортани и назвал не только имя, но и добавил “пожалуйста”.

Услышав короткое:” Нет дома.” Опять оробел и не звонил долго.

Позвонив в третий раз, услышал почти гневное:

– А собственно говоря, что Вам надо, молодой человек?

– Поговорить.

– Ну, позвоните когда-нибудь ещё.

– Нет, извините. Я не могу, я стесняюсь...

Так бы и закончилась эта детская история, если бы Ирина на исходе своих дней не встретила с Наташей. Они, конечно, не узнали друг друга, но, вспоминая дачную жизнь, оказалось, что у них много общего. От Наташи Ирина узнала, что Саша женился поздно, у него две дочери- старшая Верочка и младшая Ирочка.

Сказать о том, что её старшего сына зовут Сашей, Ирина забыла...

Как-то сидя в парке на скамейке, она заметила быстро приближающуюся группу подростков лет двенадцати. Шумные, крикливые, одетые в курточки с капюшонами, на некоторых несмотря на то, что уже вечерело, чёрные очки. Громко переговариваясь то друг с другом, то с кем-то по телефону, они подошли к скамейке, трое из них сели рядом с Ириной Ивановной, чуть ли не на колени. Она подумала, что,

очевидно, она – невидимка. И это сначала даже позабавило.

– Ты, чё, Верка, давай, приходи. Е-ся будем. Не хочешь в лесу? Тогда я к тебе приду. Дома-то есть кто?? Ну, б-ть, тогда сюда приходи!

-Ну, чё, Танька, долго, бля, тебя ждать?

– Да, придёт она, придёт. А не придёт, так... с ней. Вон уж Катька тащится.

Мальчики делали резкие движения, кривлялись, толкали друг друга.

Ирина Ивановна поднялась, пошла к выходу. Опустив взгляд на носки разношенных ботинок, она проходила мимо скамеек, на которых, не стесняясь прохожих, отрывались дети...

Правда, один стоял за деревьями, с завистью поглядывая на сверстников и грыз ногти. Что-то знакомое показалось Ирине Ивановне в его облике. Толстовка ли похожая на ту, которую она недавно стирала или аккуратно взбитый гребешок окрашенных волос?

“Господи, уж не наш ли Филиппок? – выдохнулось обо-

рвавшимся сердцем...

Повело в сторону, закачавшиеся сосны, сомкнув вершины, стали медленно падать, как тогда в детстве, когда на стог сена упало дерево...

– Бабушка, бабушка! Что с тобой? – закричал, подбегая Филипп.

– Ничего, милый, ничего. Сейчас всё пройдёт. Проводи-ка меня до дома.

И, опираясь на ещё не окрепшую руку внука, Ирина Иванова медленно зашаркала к переходу...

Дырочка в стене. Детские рассказы про жизнь

Рассказ первый

Мои мучения обычно начинались с того самого момента, когда в комнату, именуемую в некоторых семьях “залой”, оторвавшись от кухонных дел, влетала мама. Её категоричность во взглядах на жизнь и растрёпанные волосы не оставляли возможности ни мне, ни брату настаивать на своём. А потому после её строгих назиданий приходилось идти в ванную комнату, а потом тащиться в детскую. Правда, иногда

кому-нибудь из нас удавалось проскользнуть в коридор. Тогда, спрятавшись за шторой, которой родители на ночь прикрывали стеклянную дверь в “залу”, можно было постоять некоторое время на пороге с трепетом глядя в ящик.

Обычно я в волнении прикусывал указательный палец и через узкую щель с восторгом и ужасом следил за погонями, стрельбой и прочими жуткими сценами телевизионных фильмов. Но досмотреть кино до конца никогда не удавалось. Какой до конца, до середины и то ... а утром, завернув за угол нашего дома, я с завистью смотрел на одноклассников, которые едва встретившись друг с другом по дороге в школу, начинали обмениваться впечатлениями от просмотра очередного фильма про войну. И в эти минуты во мне просыпались зависть, жгучая обида на маму (папа обычно не участвовал в воспитательном процессе) и чувство собственной неполноценности.

Такие же чувства как я испытывал и мой брат, а потому мы часто жаловались друг другу на несправедливость мира и полную безнадёгу.

Однажды, засидевшийся у нас в гостях дядька, брат нашей мамы, после маминого “на горшок и в койку”, оторвал свой взгляд от голубого экрана и, встав с дивана, не спеша вышел из комнаты вслед за нами. Войдя в детскую, мы

тут же наперебой стали взывать к его сочувствию, плакаться и упрекать железобетонную маму, в устах которой “десять часов” звучало как приговор. К нашему удивлению, дядька не стал ни сочувствовать нам, ни упрекать свою жестокую сестру. Осмотрев стены комнаты, отодвинул висевшую на гвозде рамочку над моей кушеткой с фотографией деда-фронтовика и сказал, постучав по стене: “Как мне кажется, эта стена разделяет вашу комнату и зал. Так, смотрите сюда! Если вы наберётесь терпения и каждый день – вот здесь, – он отчеркнул жёстким ногтем на обоях чёткую линию, – будете проделывать отверстие, ну хотя бы гвоздём, – то уже очень скоро вы сможете не только слышать, но и видеть происходящее на экране, ведь телевизор как раз обращён в сторону этой стены. Но будьте осторожны: никто не должен знать об этом. Если же вас застукают, меня не выдавать”. Его усы шевельнулись, показав улыбку, а глаз лукаво подмигнул, вселив надежду в наши доверчивые души. С тех пор у нас с братом появилась цель в жизни, и мы были уверены в том, что пройдёт совсем немного времени и мы будем, как все мальчишки из нашего класса, смотреть все фильмы про войну и, размахивая руками, говорить: “А как он его. А этот. А ты чё, ты чё не заметил, как тот...”. Придя из школы, мы ждали, когда, наконец, услышим бодрый мамин голос:

– Дети, я в магазин!

и тут же бросались наперегонки к тайнику под плинтусом, где хранили ржавый гвоздь, который с трудом нашли на лоджии среди хлама, оставшийся после строителей. Один придерживал рамку с дедушкиной фотографией, прислушиваясь не раздастся ли из коридора звук открываемой двери, другой с неистовством орудовал над уже наметившимся отверстием. Едва заслышав, как в замке поворачивается ключ, мы судорожно опускали рамку, прятали гвоздь и принимались смахивать в ладошки штукатурные крошки, которыми была усеяна моя кушетка. Конечно, по дороге в туалет, куда мы их сбрасывали, оставалась белёсая дорожка, удивлявшая маму, которая, поднимая глаза к потолку думала, что мы опять кидали пластилиновые шарики в потолок и с них сыпалась побелка. Она печально качала головой и, горестно вздыхая, обречённо бралась за веник.

Но вскоре мы почти позабыли о кропотливой работе, которую так и не завершили. Дело в том, что наши с братом организмы с каждым днём требовали всё больше и больше белков, жиров и углеводов. Зарплата же нашего папани, который тогда хоть и трудился помимо основной работы ещё на трёх, не могла обеспечить нам надлежащего содержания, и мама устроилась на работу. Но, так как мы жили на самой окраине города, то ей приходилось уходить из дома задолго до нашего пробуждения и возвращаться тогда, когда сил на нас у неё уже не хватало, и она вместо того, чтобы следить за

нами, жарила, варила, гладила, а мы смотрели телевизор, закусывая пальцы, а по утрам перекрикивались с приятелями: “А, ты видел, как он его...?”. Кроме этого теперь у нас появилась возможность лично участвовать в баталиях и схватках, которые происходили в междомовых пространствах нашего спального микрорайона и время от времени посещать травмопункт, находящийся на противоположном берегу за бурливой речкой, в которую иногда спускали сточные воды, а порой, если наши противники оказывались сильнее, и нас самих.

Рассказ второй

Однажды, когда мы только что пришли из школы, раздался звонок в дверь. Дядька, пряча довольную улыбку в усах, не спеша снял куртку с металлическими заклёпками, и, войдя в кухню, где брат разогревал в эмалированной кастрюльке духовитые щи суточные со свининой, сообщил, что тот старенький домик в центре города, в котором прошло наше раннее детство, скоро пойдёт на слом и, что, если мы не против, он готов нам устроить экскурсию в родные пенаты в любое удобное для нас послешкольное время.

– Да, вот хоть сейчас, – сказал он, – полопаете и поедем. А то ломают и не попрощаетесь.

Особенной тяги тащиться в центр не было ни у меня, ни у брата: переполненный автобус, метро забитое до отказа не сулили ничего хорошего. Но авторитет дядьки был не оспорим. И вот мы стоим у жалкого двухэтажного флигеля (низ каменный, верх деревянный) и смотрим на окна, которые когда-то освещали наш двор и удивляемся. Удивляемся тому, как этот дом неказист, тому из каких чёрных, чернящих и толстых брёвен построен верх. “Это – дуб, – с уважением поднимая глаза вверх, объясняет дядька, – ему сносу нет”. Удивляемся тому, что когда-то мы здесь жили. Вернее, удивляюсь я, потому что почти ничего не помню из того далёкого дачного времени. Брат же вдруг говорит, грустно так тянет: “Когда мы уезжали на дачу, я солдатики забыл, а дед прибежал и, машина уже трогалась, а он мне в окно пакет с ними сунул. Знал, что без них мне и заняться-то не чем, особенно если дожди или болею”. А дядька говорит:

– Я отсюда в Афган уходил... А дед на фронт... Ну, ладно. Пошли.

Подъезд в доме уже был заколочен. Ну, это чтобы бомжи там не поселились или ещё кто... Но дядька, вот умелый был мужик, нашёл какой-то металлический кусок, отогнул им гвозди, и мы вошли... Темно, запах такой кислый, застаревший и лестница каменная, давно немытая, вся в выбоинах.

Поднялись на наш второй этаж. Дверь в квартиру, конечно же, закрыта. Тут уж ничего не поделаешь. Пришлось спуститься вниз и по пожарной лестнице, которая шла на чердак, карабкаясь, ухватившись сначала руками за металлические перила, а потом за подоконник, перевалиться в комнату, которая когда-то была нашей. И опять всё показалось странным и маленьким, а изразцовая белая печь с тускло-золотыми заслонками напомнила какие-то старые фильмы или картинки из книжек.

Мы слонялись по пустой комнате и с удивлением находили какие-то знаки, свидетельствующие о том, что когда-то здесь жили: то полу стёршиеся линии на двери, которые отмечали наш рост, то светлые пятна на стенах, где висели любимые нами картинки, которые рисовал отец, то наклейки на обоях, которые нам иногда покупали. Мы уже начали скучать и были готовы затеять возню, но вдруг нас позвал дядька, который внимательно что-то разглядывал на одной из стен.

– Вот, смотрите, – сказал он очень важным голосом, – свидетельство эпохи. И показал нам на отверстие в перегородке, которая отделяла одну часть комнаты от другой. – Здесь, указывая рукой на место под отверстием, продолжал он, – стояла кровать, на которой, приходя после смены, отдыхал ваш прадед. Во время войны он работал на Мосводопроводе. Сохранить чистой воду – было очень важно. Все говорили

о том, что воду могут заразить диверсанты, поэтому часто работать приходилось круглосуточно, а иногда и по несколько суток сразу. Когда дед приходил домой, он заваливался и спал. Конечно, во время бомбёжек он оставался дома, а не спускался как некоторые в метро, и продолжал валяться на кровати. Но лежа спать он не мог, что-то у него с детства было с лёгкими, и он почти сидел, опираясь на подушки. Однажды бомба разорвалась где-то недалеко от нашей улицы, и осколок, пробив дубовые брёвна, пролетел так близко над его головой, что он почувствовал, резкую струю воздуха, от которой у него зашевелились волосы. Со свистом осколок пролетел мимо, пробил перегородку, стену, дверь в кухню, противоположную стену и вылетел наружу. Потом эти дырки заделали, а эту, дядька опять показал на отверстие, дед просил оставить ему на память...

После этого дядька потащил нас на чердак, где рассказывал, как его мама, наша бабушка, дежурила на крыше во время бомбёжек. О том, что зажигательные бомбы, разрываясь, расшвыривали искры, от которых сгорели многие дома.

– Но не наш! – гордо сказал он. – Вот здесь, в углу, был навален песок, и ваша бабушка специальными щипцами осколки гасила в песке. А ещё она работала на военном заводе, копала окопы, пела на радио.

Про то, что бабушка хорошо пела мы и сами знали. У нас и дядька хорошо пел. Особенно, если вместе с банюшкой (это мы с братом так называли нашу бабушку). Иногда дядька приходил с гитарой, и тогда они обязательно пели “Ты жива ещё моя старушка, жив и я привет тебе, привет”. Однажды он даже записал их пение на магнитофон. Правда, потом, когда её не стало, почему-то все эти записи то ли стёр, то ли выбросил...

А в тот день, вернее вечер, когда мы ездили прощаться с нашим домом, мы вернулись домой очень поздно, потому что заехали по дороге к дядьке и он показывал нам свою простреленную на войне фуражку и говорил, что его ни капельки не задело и что он даже не успел испугаться...

Когда же мы подходили к нашему дому, мы увидели маму. Она почему-то сидела на кончике тротуара и не могла встать. А потом ей ещё пришлось идти в милицию и говорить, что её мальчики нашлись. А там ей сказали: “Ну, это ваше счастье. Берегите их!” и накапали каких-то капель, потому что она была никакая.

Потом с работы пришёл папа и, протянул маме гладенькую и какую-то хрустящую купюру зеленоватого цвета с надписью “50”. Я раньше никогда таких не видел, а папа сказал, что это и зарплата, и премия. А мама сказала:

– И что я с ней делать буду? Мне им завтра на хлеб оставить надо.

И пошла с этой бумажкой на кухню, открыла дверцу под раковиной, где у нас мусорное ведро и выбросила. Хорошо, что брат бросился к ведру и вытащил денежку...

А вчера мне приснился сон будто я уже взрослый и вернулся с войны...

Фарфоровые куклы

Какое-то время они стояли обнявшись, как две сестры, и это им почему-то не казалось странным. Ещё несколько минут назад и знакомы-то не были, а ещё через миг, другой расстанутся, чтобы никогда не встретиться. Останется только шевеление звука над ухом- “милая” и неспешное сетование, что, мол, забыли русский, да и учили плохо... и эти две куколочки одна в голубом, другая в красном, в память о бабушке...

У бабушки уже начались сильные боли, когда она решила подарить Леночке куклу. Необыкновенную. Не похожую на тех, что жили у внучки между кроватью с металлическими набалдашниками и белой изразцовой печкой. Небольшую. Фарфоровую. Купить такую – что найти аленький цветочек в заморских странах. Но бабушкина подруга Инночка, заво-

рачивавшаяся в молодости в поток золотых волос, пообещала, что зять привезёт из Богемии. И имя уж бабушка ей придумала – Вера, потому что знала, что только вера спасёт и её, и внучку...

“Как хорошо, что я успела её причастить”, – думала бабушка, протягивая Лене куклу...

Верочку поселили на полке большого старинного шкафа со стеклянными дверцами, на той же, где в глубине стояла загадочная шкатулка с маленьким ключиком. БОльшую часть своей недолгой жизни Верочка провела на этой полке, среди уютной мебели тёмно-красного цвета с золотыми звёздочками, сидя в кресле, придвинутом почти вплотную к круглому столу, сервированному крошечной посудой. С Верочки сдували пылинки, одевали в платья из лёгких прозрачных тканей, сшитых их разноцветных кусочков, принесённых от знакомой портнихи. Словом – она была настоящей феей!

– Как-то, – рассказывала Ольга Николаевна внукам, – в один зимний день я взяла Верочку на прогулку. Укутала её потеплее в пуховой бабушкин платок, сжавшийся от времени в небольшое кукольное одеяльце, положила на серебристые саночки, будто для неё сделанные, и, выйдя во двор, стала осторожно катать по протоптанной от подъезда до арки ворот дорожке. Моя подруга Эля, жившая в том же доме, что и я, посмотрев в окно, увидела меня и сразу же вы-

шла. Конечно, она попросила покатать саночки. Отказать я не могла. Эля была моей лучшей подругой. Увы, саночки у неё опрокинулись и... Верочка разбилась... Утешить меня не мог никто. Ни Эля, которая редела вместе со мной, ни дворничиха тётя Поля, разгребавшая снег около своей пристройки, ни её дочка Галя, возвращавшаяся из музыкалки с коричневой папкой для нот... И только потом, дома, когда мама открыла крошечным ключиком шкатулку и, достав из неё записную книжку с обложкой из тёмно-бордовой кожи, сунула её мне вместе с крошечным круглым карандашиком, вставленным в футляр, и я вывела на ней дошкольными каракулями “Пшла гулять с Верочкой и моя подуга Эля разбила её я перестала лить слёзы ...

Этот рассказ Елены Николаевны внукам понравился, и они часто просили повторять его. Когда же они повзрослели, Елена Николаевна посвятила их и в тайны той шкатулки, которая открывалась маленьким ключиком, но это случилось гораздо позже, когда девочки подросли, пока же она сама изучала её содержимое. Что-то ей было знакомо и раньше. Например, завиток льняных волос, завёрнутый в тонкий пергамент, обручальные кольца с именами бабушки и дедушки на внутренней стороне, осколки топазов, хризолитов, бирюзы...

Но самое главное – перевязанные голубой лентой потре-

панные листки. Письма с фронта. С раннего детства она знала, что это письма отца к матери, которая тогда считалась его невестой. Хотя никакого запрета на чтение этих писем в семье не существовало, Лена не могла себе позволить даже дотронуться до них. И только потом, когда не стало сначала отца, а потом матери, осторожно развязав ленту, время от времени перекладывала треугольные конверты, прямоугольные открытки или просто сложенные листки. Но вот настало время, когда, нарушив какое-то внутреннее сопротивление, сначала бегло, а потом вчитываясь в каждое слово, Елена Николаевна начала путешествие в прошлое.

Первое, что удивило её это – фиолетово-чернильный штамп, кое-где жирный, а иногда еле заметный. Внутри него стояло всего лишь одно неприятное слово – “перлюстрировано”. Когда же, прочитав одно за одним несколько писем, она услышала глуховатый голос отца, неспешно поучающий свою невесту, которая была на десять лет моложе его, интерес Елены Николаевны к письмам с фронта заметно поубавился, и она подумала о том, как, наверно, огорчалась мама, читая скудные на чувства и слова наставления.

Правда одно письмо со вложенной в него нечеткой фотографией с обломанными уголками, со временем затерявшееся, сильно отличалось от всех: его радостный, почти восторженный тон передался Ольге Николаевне, и она много раз

перечитывала его. Скупые слова других писем в этом послании сменились поэтическими эпитетами. На фотографии же были изображены военные, подбрасывающие в воздух молодого солдата, а рядом – группа улыбающихся девушек с цветами в руках. На обороте, чётким отцовским почерком написано: “Прага, май 1945”. Читая это письмо и рассматривая фотографию, Елена Николаевна вспоминала рассказы отца и фильмы об освобождении Праги. Особенно ей запомнилось, как однажды, во время одной из подмосковных прогулок вдоль Москвы-реки, проходя мимо заброшенной церкви, он заговорил о богослужении в пражском костёле, о том, как однажды стоял заворожённый органной музыкой у входа, не смея пройти вперёд, и перед ним, словно во сне, возникал то образ матери, молящейся перед иконами, то отец сидящий за письменным столом, то тётка выхаживающая осиротевших племянников... Тогда к нему подошёл и тронул за локоть пожилой господин небольшого роста с такой же, как у его отца чеховской бородкой и глазами, полными понимания и сочувствия. Приглашая пройти вперёд, он взглядом показывал на скульптуры, витражи, а отец не мог и шага ступить, увлечённый музыкой, и только переминался с ноги на ногу и мял в руках пилотку. В письме же отец писал, что, глядя на молящихся пражан, он испытал к ним какое-то необыкновенное родственное чудо... Да, это было самое приятное из всех писем и очень тёплое...

Отец умер в шестьдесят седьмом. А весной шестьдесят восьмого Лена невольно думала: “Хорошо, что папа не дожил...”

В начале двухтысячных годов в длинные рождественские каникулы у Елены Николаевны впервые появилась возможность побывать за границей. Она выбрала Прагу. Путешествуя по городу и пригородам, с восторгом и волнением всматриваясь и вслушиваясь в незнакомый ей мир, она нет-нет да вспоминала о своём обещании внучкам привезти им такие же фарфоровые куклы, какой когда-то была её Верочка.

– Мне, – бросила та, что постарше, – привези голубоглазую и со светлыми волосами.

– А мне, – с трудом подбирая слова, – в ка-асном, – пролепетала младшая...

Теперь, когда срок тура неумолимо сокращался, Елена Николаевна с волнением думала о том, где же ей купить куклы. Правда, кое-какие подарки внучкам она уже успела приобрести. Чешские сладости (оплатки, пишкоты), миниатюрная кукольная посуда, уложенная в красивую лакированную коробочку, и даже изящная кружечка с носиком для питья минеральной воды были упакованы и готовы к полёту, но...

фарфоровые куклы так ей ни разу и не попались на глаза.

До отъезда из отеля оставалось всего несколько часов. Поскольку отель находился в стороне от торговых центров, Елена Николаевна уже не надеялась выполнить просьбу внучек, но всё-таки отправилась на поиски какого-нибудь детского магазина. Пражские “Черёмушки”, близнецы московских, обрадовали её. Дома, покрашенные в нежные пастельные тона, окружённые группами то берёз, то сосен, то каких-то незнакомых кустарников, солнце, время от времени оживлявшее бесснежный зимний пейзаж, непожухшая зелень газонов создавали весеннее настроение и, казалось, что сейчас не январь, а март. Заметив, что скамейки здесь почему-то не облюбованы птицами и вокруг нет ни окурков, ни шелухи от семечек, ни опустошённых пивных банок, Елена Николаевна с удовольствием присела на одну из них и тут же увидела, что из подъезда дома напротив вышла девочка лет десяти с рыженькой собачкой на поводке, удивительно похожей на ту, что когда-то в её детстве жила у них в семье.

“Джувльба”, – с волнением прошептала Елена Николаевна, угадывая в собаке редкую в последнее время в Москве породу. Один из щенков этой породы, сучка ирландского терьера, привезённая для продажи из Праги, тогда случайно осталась в их семье и стала для Лены другом. Елена Николаевна смотрела на девочку с собакой, и ей казалось, что она

видит себя. Ей даже показалось, что на девочке такое же зелёное в мелкую клетку пальто и фетровая с небольшими полями детская шляпка, какие были у неё. И она опять забыла про куклы и, продолжая вспоминать дальше и дорогое, всё сидела и сидела на скамейке.

Когда же девочка ушла, Елена Николаевна вздохнула и, взглянув на часы, опять продолжила своё междомовое кружение. Около одного из домов, ещё издали заметив выставленные в окне первого этажа игрушки, остановилась. Среди машинок, кукольных домиков, мячей и мишек сидели, прислонившись друг к другу спинами, две фарфоровые куколки. Одна белокурая, другая – в красном. Догадавшись, что она стоит перед магазином игрушек, Елена Николаевна быстро открыла дверь, спустилась по ступенькам и тут же, будто поджидая её, улыбаясь так, как улыбаются родным и близким, к ней подошла пожилая женщина. Небольшого роста с аккуратно уложенными седыми волосами, слегка завитыми на концах, с правильным овалом лица с прямым классическим носом и, главное, сияющими глазами – она напомнила Елене Николаевне её бабушку. Елена Николаевна даже вспомнила, что у бабушки была такая же, как у продавщицы бирюзовая кофта, связанная из какой-то воздушной шерсти. Когда же, по-прежнему улыбаясь, не спрашивая, что Елена Николаевна хотела бы купить, она достала с витрины двух фарфоровых куколок, протянула их ей, и, загадочно глядя в

глаза, спросила по-русски “Нравятся?” – Ольге Николаевне осталось только радостно кивать. Долго и тщательно упаковывая кукол, примеряя для них то одну коробку, то другую, продавщица с сожалением говорила о том, что сейчас в Чехии русский не учат, а раньше учили плохо и сейчас забывают, а она ещё помнит... она много что ещё помнит...

А потом, взяв Елену Николаевну за локоть, повела её куда-то за стеллажи с игрушками и показала на прикрепленную к стене старую фотографию с изображением военных и девушек с цветами...

Прощаясь, она, обняла Елену Николаевну за плечи, шепнула на ухо “милая”, а та, уловив что-то родное, подалась к ней. Какое-то время они стояли, обнявшись как две сестры или как бабушка и её состарившаяся внучка.

Банальный борщ

Ирина варила борщ. “Теперь уже на завтра, – думала она, – сегодня его, наверно, есть никто не захочет, поздно. Разве Алексея позвать, он как пришёл, ничего и не ел. И что это с ним, какой день сам не свой”.

Механически, как уже тысячи раз в жизни, она переворачивала лук на сковородке, чтоб корочка была чуть заметной, золотистой, и вдруг случайно, посмотрев в тёмное, ещё не зашторенное окно, увидела себя, как в зеркале.

Только она ли это? На неё смотрела пожилая, скорее даже старая женщина, растрёпанная, волосы, окрашенные когда-то в тёмно-русый цвет, отрастали серым, седым, безжизненным, лицо, хоть и не было ещё морщинистым, как-то сжалось, кожа на щеках была вялой, веки устало нависали на глаза.

Сбросив лук в кастрюлю, Ирина подошла к зеркалу в коридоре и стала опять рассматривать себя.

“Вот чудно, – вздыхала она про себя, проводя рукой по щеке, – я всё та же, я же знаю, что Я это Я, но нет, это не я”.

Она вернулась на кухню, убавить огонь и закрыть шторы и засмотрелась на фонарь за окном, на вечерние силуэты и вспомнила вдруг, что когда-то уже стояла так, разглядывая темноту улицы, и какой-то военный крикнул ей, не подскажет ли она, где квартира и назвал их номер. Она удивилась и испугалась – к соседям что ли, а если к ней, с фронта, от Алексея. Не случилось ли чего?

А когда открыла дверь и увидела его близко, выбритого, подтянутого, надушенного одеколоном и узнала, что с Алексеем всё в порядке, обрадовалась.

Достала из буфета вчерашние оладьи из картофельных

очистков, вскипятила воду.

Её не насторожила бутылка, которую гость поставил на стол.

Наверно, так принято,— подумала она.

Потом потянулись длинные разговоры, сначала ей интересно было, потом насторожилась: почему он у неё всё об Алексее выпрашивает, о его родителях, братьях.

А когда сказал: “У меня на твоего жениха дело заведено. От тебя зависит – в штрафбат ему идти или нет”, – в дрожь бросило.

“Я фотографию твою ещё там видел, мне, такие как ты, нравятся, хочешь, женюсь на тебе, если с фронта вернусь” и загоготал противно.

Ирина тогда пыталась шутить, только военный этот смотрел на неё без улыбки и даже как-то сурово, будто обвинял в чём-то.

Когда перевалило за двенадцать, а он всё сидел и всё говорил одно и то же и становился всё злее и злее, а один раз даже рукой по столу стукнул, Ирина стала его выпроважи-

вать, говорила, что сейчас отец с дежурства вернётся, что у них ему никак нельзя, негде, он совсем озлился и сказал:

– Здесь мне постелешь.

И показал на отцовскую кровать, за занавеской, будто знал, что отец только утром придёт. Она и постелила, а сама на диване легла, не раздеваясь. Ночь прошла тяжело. Вспоминать о ней она себе запретила.

Утром, когда Ирина проснулась, ей сразу же в глаза бросилось – что-то не так, не опрятно как-то. Бумажки разорванные валяются, на столе записка “Я своё обещание выполнил. А дождёшься – жениюсь”.

Сундук был открыт, в нем не было ни туфель новых, ещё до войны купленных, ни отреза.

Про отрез и туфли она сразу же Алексею написала.

А он ей после этого на письма не отвечал долго, почти год.

“Ничего себе, – подумала Ирина, – сорок лет прошло, а я всё ворошу.

В кухню вошла дочь.

– Чего это он? – спросила она, показав глазами на дверь комнаты, за которой на диване лежал Алексей.

– А чёрт его знает, – зло ответила Ирина, а потом, уже добрее, – борщ готов. Будете?

– Сейчас у Сашки спрошу.

– И отца позови.

Алексей вышел к столу нехотя, лицо у него было несвежее, сероватое и недовольное.

Вошёл и Сашка, зять, как всегда с какой-то кривой улыбкой.

– А Танюшка?

– Спит.

Ирина разливала борщ.

– Мне чуток плесни, – сказал Алексей.

– Почему же чуток. Смотри, какой наваристый. Поел бы,

а то вон тощаешь всё.

– Больно жирный он у тебя.

– Поешь, Алёшенька, – неожиданно нежно и будто просяще, – сказала Ирина, – я ведь для тебя старалась.

– Ну, если для меня, тогда поем, – сказал Алексей как-то грустно.

Ирина посмотрела на его редкие волосы, на лицо, какое-то уставшее и больное, и там, где она предполагала у себя душу, что-то растревожилось и задрожало.

– Господи, – думала она, – вот и к закату подбираемся. Плохо я о нём забочусь. Всё о детях да о Танюшке. Завтра сварю ему что-нибудь диетическое.

– Ты мне завтра что-нибудь постненького свари, – сказал Алексей и ушёл в свой, как он говорил, закут. Думку свою думать да прошлое тревожить, потому как настоящего у него только и было – магазин, закут, а иногда – поликлиника.

Поднялась и Ирина.

Вошла к Алексею, обняла и заплакала.

– Прости меня. Забыла, что тебе жирного нельзя.

– Дурочка ты моя, я ведь тебя люблю. Это ты меня прости, что всё мне не так.

А Сашка сидел за столом, радостно ел, роняя капли борща на майку, блестел глазами и говорил:

– Чудные эти старики. Вот ведь как своей старостью недовольны, всё капризничают.

С ярмарки

С ярмарки

Они встречались каждую среду в метро у первого вагона из центра.

Присаживались на скамеечку.

Она рассказывала ему о больном муже, об интровертной невестке и шумных внуках.

Он ей – о больной жене и последних новостях из Интернета.

Иногда он провожал её на ярмарку, где она покупала свежий творог и молоко у знакомой продавщицы, которую называла Снегурочкой.

Он имел обыкновение поддерживать её под локоть и делал это так трогательно и нежно, что прохожие обращали на них внимание и удивлялись: седые головы, у него палочка, а глаза как у молодых.

Иногда он провожал её до автобуса и помогал подняться на ступеньки.

Иногда они вспоминали другие среды, когда он дарил ей фиалки или мимозы, в зависимости от сезона...

Балласт

Иван Андреевич любил день своего рождения с детства. Гости приносили подарки и радость в скучную размеренность жизни. И так вошло это в его натуру, что какой бы день рождения он не отмечал, всегда предчувствовал нечто приятное. Правда, когда-то в этот день мама заставляла его надевать колючую, накрахмаленную рубашку, но и это не мешало ощущать праздник.

Сегодня он отмечал свое шестидесятилетие. А потому – новый костюм, свежая рубашка и даже одеколон. Рубашка

была мягкой, хлопчатобумажной, в ней дышало тело, а воротничок не натирал шею. Последнее было особенно важно для Ивана Андреевича, поскольку кожа у него была нежной. Как, впрочем, и душа... Он ждал, что сегодня он наконец-то получит долгожданную признательность за свой многолетний труд в родном НИИ. Нет, конечно, не орден, не медаль, но хотя бы приказ из министерства, приветственный адрес. Он всегда знал, что когда-нибудь его обязательно отметят. А в этот день он представлял себя окруженным друзьями, молодежью, смотрящей на него с уважением, и надеялся на присутствие высокого институтского начальства.

Конечно, было бы хорошо отпраздновать юбилей в ресторане. Но, прожив свою жизнь скромно, по-хорошему бедно, Иван Андреевич привык к тощему кошельку бывшего советского, а ныне российского инженера, и потому был готов ограничиться пирожками и салатами, приготовленными женой Антониной Федоровной. Когда-то Антонина Федоровна, его Тонюшка, была хороша: темные густые волосы, тонкий стан. Нравилась она не только Ивану, но и его приятелям. Однако в мужья выбрала именно Ивана Андреевича. Это был брак по расчету: Тоня часто слышала, как однокурсники Ивана восхищались его математическими способностям. С такой головой, думала Тоня, он и до академика доберется... Однако Иван Андреевич не только не стал академиком, он даже не выбился в руководство института. Поэтому ей всю

жизнь пришлось ходить на работу пешком, бегать по магазинам и печь пирожки.

На эти-то пирожки Иван Андреевич в день своего рождения как раз и рассчитывал. К пирожкам у них в институтском коллективе до сих пор отношение было трепетное, и если кто из мужиков приносил их на торжество, то все говорили: «Повезло с женой».

Но в последнее время Антонина Федоровна не горела желанием стряпать. Вечером накануне юбилея Иван Андреевич нервно поглядывал на часы и в окно... Антонина Федоровна задерживалась. Когда же явилась, бросила пакеты с продуктами на стол, обругала сначала продавцов, потом весь белый свет, и пришлось Ивану Андреевичу сдирать наклейки с пластиковых упаковок с салатами, чтобы сослуживцы не догадались, что они куплены в супермаркете. Он, правда, хотел спросить у нее про пирожки, но только смиренно вздохнул.

Но то было вечером, а утром в приподнято-торжественном настроении он шел через проходную, где еще недавно сидел живой дядя Паша, когда-то ушедший на фронт из их института. Правда, вернувшись, столяром, как прежде, он работать не мог, поскольку потерял руку, но вахтер из него получился сговорчивый. Теперь вместо дяди Паши сто-

ял стальной турникет, мимо несгибаемой руки которого не проскочишь до тех пор, пока не сунешь ему в пасть пластмассовую карточку: время прибытия, убытия... Ничего личного.

Если раньше их отдел занимал целый этаж, то теперь он сжался до одной комнаты, где когда-то размещалась институтская техническая библиотека. Иван Андреевич хорошо помнил, как они с дядей Пашей помогали перетаскивать библиотечные каталоги во двор, где полыхал костер. Рядом с костром, на перевернутом каталожном ящике сидела библиотекарша. Опустив голову, она время от времени подбрасывала в огонь библиотечные карточки, которые в начале своего трудового пути заполняла от руки, потом на пишущей машинке «Ятрань». Перевести каталог на жесткий диск она не успела... Иван Андреевич тогда подошел к библиотекарше.

—Смотри, Иван Андреевич, как на Опернплаце, — сказала она и добавила: — «Сожгите меня», помнишь, у Брехта?

Библиотекаршу, и правда, скоро сожгли. И дядю Пашу следом. В крематории... А после этого увезли куда-то институтское оборудование вместе с мебелью.

Освобожденные помещения, большие, просторные, свет-

лые, с высокими потолками – ну сталинский ампир, – разделили перегородками на офисы, и в них теперь вращались какие-то арендаторы. Чем они там занимались, никто из институтских не знал, но Ивану Андреевичу порой казалось, что из-под дверей в коридор нет-нет да пробивается запах денег.

Время от времени к зданию института подъезжали автомобили прокуратуры, и тогда на улицу выбегали арендаторы с испуганными лицами. На удивленные взгляды сотрудников института охранники лишь разводили руками.

После очередного исчезновения арендаторов в коридоры выползали сотрудники института. Их ноздри жадно втягивали воздух свободы. Мужчины трясли друг другу руки, женщины оживленно ворковали. Однако проходила неделя-другая, и в опустевшие помещения въезжали новые арендаторы, с новой офисной мебелью и оргтехникой. Иван Андреевич с удивлением смотрел на незнакомых людей, которые стояли на лестничных площадках, курили и перекидывались впечатлениями. Иногда до него доносились обрывки фраз, в которых звучали мерзкие слова бабло, тусовка, прикид. С особенным недоумением смотрел он на бледных девиц с разноцветными ногтями: их одежда казалась ему непристойной, а лица пустыми. И еще он не мог понять, почему вдруг женщины стали выше мужчин?! В смысле роста. Но больше все-

го Ивана Андреевича поразил Анатолий Максимович, Толя, его однокурсник, выросший до директора их института, которого он частенько видел смеющимся среди этих новых и чуждых по духу людей.

«Что стало с его лицом?» – думал в последнее время Иван Андреевич.

Однако сегодня его волновало, придет ли Толя в их закуток и вызовет ли его к себе в кабинет? С этими мыслями Иван Андреевич шел к двери своего отдела, спеша поскорее оказаться среди своих. Как-то месяца два назад, поднимаясь по лестнице, он услышал, как кто-то из офисных бросил ему вслед: «Смотри, какой перец пошел!» – и стоящие рядом с ним рядом глумливо расхохотались, а кто-то из них потом еще добавил: «Балласт!»

Это последнее слово так задело Ивана Андреевича за живое, что он до сих пор негодовал: «Какой же балласт, у меня и авторские есть, и внедрения. А что эти могут?» И все же отвратительное словцо присосалось к нему, как пиявка, и он лишь сокрушенно качал головой, будто открывая для себя что-то новое, страшное. Помнится, в тот вечер, придя домой, он с возмущением рассказал об этом жене и неприятно поразился тому, что она не разделила его негодования. Ему даже показалось, что при слове «балласт» на ее лице

промелькнула злорадная улыбка... Но жизнь продолжалась, и по утрам Иван Андреевич надевал джинсы, втискивался в автобус, потом почти бежал, совал в стальную пасть турникета пластмассовую карточку и, пыхтя, поднимался в свой отсек, нет-нет да вспоминая это словечко, от которого ему становилось тошно.

И вот сегодня, в день своего рождения, он вдруг почувствовал себя как-то неудобно. Может быть, оттого что на нем был костюм? Он никогда и не надел бы его, если бы не торжественная дата.

– Неприлично, – несколько дней до этого твердила ему жена, – перед начальством и в джинсах. У тебя же костюм ненадеванный.

– Жена заставила меня его надеть, – оправдывался Иван Андреевич перед сотрудниками, – а я костюмы терпеть не могу.

— Да уж, – посмеивались сотрудники, – тебя, Иван Андреевич, прямо как в гроб обрядили.

Иван Андреевич заставлял себя улыбаться, а в голове крутилось проклятое «балласт».

После обеда дали наконец команду праздновать. Выпивки было достаточно, но Иван Андреевич и рюмки не выпил: вызовут наверх, а от него – пахнет. Неудобно.

Но не вызвали...

А на следующий день к ним в отдел зашла кадровичка, сунула Ивану Андреевичу приказ и попросила расписаться.

«Уволить в связи с уходом на пенсию», – прочитал Иван Андреевич, и его лицо побледнело. Ладонью левой руки потер шею и... расписался правой, не веря, что это про него. Вышел в коридор, пошел к кабинету директора, но Анатолия Максимовича на месте, конечно, не оказалось...

С тех самых пор с утра до вечера лежал он на диване, щелкал пультом телевизора. Все передачи были отвратительны. Похожие друг на друга девицы с неестественно раздутыми губами преследовали его. «Неужели все они шлюхи?» – думал он и с раздражением выключал телевизор. Однажды Иван Андреевич решил, что хватит страдать на диване и пора позаниматься с внуками. Но вдруг оказалось, что ни математику, ни физику он не помнит... Скоро он совсем слег, и его Тонюшка и теперь крутилась, как белка, зарабатывая деньги в какой-то мутной страховой компании.

– На мужиках далеко не уедешь, – любила повторять она подругам и, обводя рукой комнату, добавляла: Все сама – и ковер, и хрусталь...

Иван Андреевич лежал пластом, и от него пахло чем-то старым и больным. Он чувствовал, что становится обузой для жены, и часто повторял про себя то мерзкое словечко, брошенное ему однажды в спину.

Как-то встретив на улице школьную подругу, Антонина Федоровна возопила:

– Не могу больше! Мы с мужем в одной комнате, в другой – дети да внуки.

—А ты перевези его на дачу, – посочувствовала подруга.

—Ты думаешь? Только это ведь щитовой домик на болоте.

—Да ничего с твоим мужем не случится! Есть один таджик. Он у меня на даче все лето работал. У него даже паспорта нет, так что готов на все! Только ты его деньгами не балуй. Корми и ладно. Что ему еще?

В ноябре Ивана Андреевича повезли на дачу.

Когда машина подъехала к участку, пошел мелкий холодный дождь. Худющий таджик по имени Ахмат, в какой-то бабской накидке, уже поджидал их у забора. Увидев приезжих, Ахмат заулыбался, начал лопотать что-то тарабарское.

—За ноги его крепче держи, тащи на себя, – с раздражением говорил таджику сын Ивана Андреевича, когда они вытаскивали отца из машины. Сын Ивана Андреевича был неуклюж, толст и не слишком подходил для успеха, но изо всех сил пытался понравиться новой жизни: еще весной обрил голову, повесил на грудь золотую цепь с массивным крестом и даже купил праворульный джип. Теперь он старался смотреть на людей безразличным холодным взглядом, но его пухлые, немного детские губы выдавали его с головой.

Ивана Андреевича кое-как дотащили до крыльца. Антонина Федоровна пыталась открыть замок, но ключ не поворачивался.

—Потерпи, Иван Андреевич. Что ты ноешь как маленький? – раздраженно говорила Антонина Федоровна.

Но ни она, ни сын дверь открыть не смогли. Замок открыл Ахмат.

В доме было холодно и сыро. Антонина Федоровна показала Ахмату на буржуйку и сказала:

—Топи чаще. В лесу сушняка навалом. Так что холодно вам не будет...

Иван Андреевич посмотрел на жену, на пар, который шел у нее изо рта, и тихо сказал:

—Тоня, привези мне молитвослов...

С тех пор началась у Ивана Андреевича новая жизнь. Жена Ивана Андреевича навещала его не часто, на электричке не наездишься, сын же сразу предупредил, что у него куча дел и ездить туда-сюда он не собирается. Поэтому случались дни, когда продовольственные запасы у Ивана Андреевича и Ахмата заканчивались, и тогда Ахмат шел в магазин за шоссе и там, если везло, за небольшую плату разгружал фургоны с товаром. Как-то Ахмат раздобыл на свалке старый велосипед, на котором теперь время от времени объезжал садовые участки, предлагая дачникам рабочую силу: чинил забор, бетонировал подвал... Поздно вечером возвращался домой с продуктами. Иван Андреевич, глядя, как Ахмат чистит картошку, думал: «Неужели ворует?»

Иногда Ахмат расстилал коврик и начинал молиться. Ива-

ну Андреевичу тогда тоже хотелось молиться. «Может, какой-нибудь Бог нас и услышит!» – думал, он помнил только «Господи, помилуй!».

Когда Ивану Андреевичу становилось особенно плохо, Ахмат молился без устали, и через некоторое время Иван Андреевич засыпал. Уснув, Иван Андреевич стонал. Два сна постоянно преследовали его. В одном он будто идет по темному институтскому коридору. У кабинета Анатолия Максимовича горит тусклая электрическая лампочка. Иван Андреевич замечает, что идет он по узкой половице, а вокруг него грязная жижа, в которой плавают чертежи и схемы. Наклонившись, он видит, что это его авторские свидетельства, его не защищенная диссертация. Он пытается поднять их и падает в грязь... Во втором сне они с сыном гуляют вдоль железной дороги: зелень, желтые одуванчики. Сын его, маленький, розовощекий, бежит впереди него, вдоль железной дороги, а по рельсам мчится состав с бревнами. Потом эти бревна начинают сыпаться прямо на сыночка. «А-а!» – кричит Иван Андреевич...

Как-то Ахмат сказал ему:

—Больше молись. Я молюсь, и мне Аллах помогает. Он и тебе поможет.

Иван Андреевич улыбнулся. Он уже давно непрестанно молился про себя. И молитва не только утешала его, но и поднимала словно на крыльях над этой промозглой жизнью.

Как-то Иван Андреевич сидел у окна и вдруг увидел идущую к дому Антонину Федоровну. Иван Андреевич удивился, как жена вдруг помолодела. «Конечно, – подумал он, – теперь она живет без балласта!» И мелькнула мысль, что, может быть, она никогда не любила его и всегда жалела о том, что вышла за него, дурака, а не за красавца Толю, ставшего директором института...

Антонина Федоровна буквально ворвалась в комнату. Не поздоровавшись с Иваном Андреевичем, она принялась сбивчиво рассказывать ему что-то такое, что Иван Андреевич никак не мог понять, и все пугался, не случилось ли что с сыном или внуками. Наконец до него дошло, что институт, где когда-то работал Иван Андреевич, закрыли и теперь там будут апартаменты.

—А как же Толя? – взволнованно спросил Иван Андреевич.

—Толя теперь... никто. На Кипр собрался и... знаешь, меня с собой пригласил, – покраснев, сказала Антонина Федоровна, потом добавила: – Завтра вы с Ахматом должны от-

сюда съехать. Валерик наш участок продал. Кредиты у него, долги.

Иван Андреевич опустил глаза и уже хотел спросить: «Куда же нам?», но вдруг ему стало мучительно стыдно, так стыдно, что он даже покраснел.

– Ты что? – закричала Антонина Федоровна.

Но Иван Андреевич не ответил ей, и лицо Антонины Федоровны пошло пятнами. Как ошпаренная она выскочила на улицу. Быстро, почти бегом, пошла на станцию, то и дело восклицая: «Да пропадите вы все пропадом!»

Потом, зажав себе рот ладонью, завывала.

Плакала Антонина Федоровна и в электричке, и уже поздно вечером дома. А после того, как в их квартиру ввалились какие-то бритоголовые мужчины, и вовсе зарыдала в голос, потому что Валерик сказал ей: «Мама, теперь и эта квартира не наша...»

На вопрос, куда ей податься, сын промямлил о том, что у нее подруг полгорода. Подруг у Антонины Федоровны было действительно много, и уже на следующий день ей удалось въехать к одной из них на пару недель. Но теперь, что бы

ни делала Антонина Федоровна, ее мучили мысли об Иване. Ей казалось, что если бы сейчас рядом был Иван, все могло быть иначе. Ночью, когда она пыталась заснуть, Иван являлся ей, бледный или весь красный, и после этого у нее бешено колотилось сердце и перехватывало дыхание...

И однажды она не выдержала ночных пыток – решила съездить туда, где оставила мужа на произвол судьбы. Пока Антонина Федоровна ехала в электричке, ее воображение рисовало страшные картины: то ей казалось, что тело Ивана Андреевича валяется где-то в кустах, то оно лежит распластанное на дне котлована, и его терзают вороны. Он даже представлялся ей залитым раствором бетона, в качестве одного из столбов под новую дачу. Мысли путались, она хваталась за виски и пыталась не думать о том, что ждет ее на бывшей даче.

Когда Антонина Федоровна вышла из электрички, ее волнение усилилось. По мере того как она приближалась к участку, ее ноги шли все медленнее. И вдруг она увидела то место, где еще пару недель назад стояла их дача: ни дома, ни беседки, ни яблонь у веранды. Только утрамбованная песчаная площадка, и на ней несколько строителей, откидывая комья сырой земли, копают узкую траншею.

– Вам чего? – спросил один из них.

– Ничего. Я так, – испуганно произнесла Антонина Федоровна.

– Иди, мать, не мешай, – мрачно посоветовал ей другой строитель.

Антонина Федоровна отошла от площадки, но далеко уйти не смогла: принялась кружить в окрестностях, уверенная в том, что муж где-то здесь. Ей представлялось, что еще живой Иван Андреевич там, бледный с заваленными песком глазами и ртом, хочет пошевелиться и не может...

—Иван! – шептала она и все ходила между участками, на которых поднимались островерхие крыши нойшванштайнов, плутала по мокрой траве, пока вдруг не заметила Ахмата, выезжавшего из-за кустов на велосипеде.

Когда Ахмат исчез, Антонина Федоровна вошла в заросли. С трудом продираясь сквозь хватающие ее за плечи ветки, вышла на небольшую поляну и тут заметила нечто необычное, что заставило ее остановиться. Откуда-то из-под земли выходило тепло, ломающее воздух. Подойдя поближе, она наткнулась на какую-то тряпицу, прикрывавшую вход в погреб. Осторожно сдвинула ее в сторону, заглянула. Там внизу, во тьме, что-то шевелилось. Антонина Федоровна ис-

пуганно отпрянула. В висках застучало. Заглянула опять и, кажется, увидела лежащего там человека. Она даже заметила блеск его глаз. Не оглядываясь, она бросилась прочь, ломая кусты. Она бежала через заросли, мимо сваленного у дороги строительного мусора, в котором шевелились от ветра обрывки старых обоев, битая посуда и тряпки.

«А если это все же не Иван? – пронзала ее отчаянная мысль. – А кто же тогда? Иван, конечно Иван!» – успокаивала она себя и шла, с трудом вытаскивая ноги из грязи...

Казалось, что земля уходит у нее из-под ног. Все плыло у нее перед глазами, и Антонина Федоровна вдруг осознала, что без Ивана идти ей некуда да и незачем. Остановившись, она уже хотела вернуться к землянке, но только сейчас заметила, что уже спускается с горы, в которую превратилась мусорная свалка. Сил вернуться у нее не было. Она стояла и стояла, одна среди мусора, а где-то совсем рядом из-под земли поднимался едкий дым и перепрыгивали с места на место огненные языки.

Альбатросы

Борис шёл по Адмиралтейскому и голосом Эдуарда Хиля про себя напевал: “Моряк вразвалочку сошёл на берег, как будто он открыл пятьсот америк...”. Вокруг расцветала весна, переходящая в лето, голубели небо, реки, каналы. Спешить было некуда. Целый день он мог шататься, где угодно: зайти в Эрмитаж, Русский, побродить по Невскому или направиться через мост на Заячий остров. Он мог даже прокатиться с ветерком на ракете до самого Петергофа и там балдеть от золота сквозь хрусталь фонтанов. Мог пойти в кафе, например, “Норд” и заказать себе обед из трёх блюд с вином и поесть по-человечески, разрезая мясо ножом, взять на десерт мороженое в шариках...

Он уже собрался перейти через дорогу, чтобы купить шипучку в Александровском саду, но остановился около углового дома с мраморной мемориальной доской и прочитал о том, что здесь когда-то была мастерская художников-передвижников. Зашёл во двор, так, от нечего делать, поглазеть. Ему нравились эти старые ленинградские дворы, соединённые друг с другом, чудилась какая-то тайна в их лабиринтах.

Войдя в арку, он опешил: на крошечной зелёной лужайке, зажатой со всех сторон асфальтом, стояла девушка. Во-

круг неё, над ней, летали крупные, ослепительно-белые птицы. Ему показалось, что они нападали на неё. Он подбежал и невольно вскрикнул:

– Они же вас всю исключают. Спасайтесь!

Девушка улыбнулась:

– Тише. Не пугайте их. Разве не видите, я их кормлю.

Тут Борис заметил, что рядом с ней стояла металлическая фляга, из которой она доставала какую-то похожую на кашу пищу, и в раскрытой ладони протягивала птицам. Девушка и ему предложила:

– Хотите мне помочь? Они, когда штиль, голодные.

Борис согласился. Как-то раз за кораблём, на котором он проходил службу, летела стая похожих птиц, и, соскучившись по развлечениям матросы, заманивали их на палубу кусками сала. Потом забавлялись, глядя на нелепую, переваливающуюся походку пернатых, смеялись над тяжёлыми крыльями, мешавшими сухопутным движениям. Окружив птиц, моряки, подзадоривая их, выкрикивали что-то, а те отвечали им добрым лаем прирученных собак. Кто-то из моряков, гогоча, вставил одной из них в клюв сигарету, другой поддал

под крыло. Красивые в полёте исполины казались жалкими, а люди жестокими... Борис подумал тогда, что люди мстят им за то, что сами не умеют летать...

Девушка же общалась с птицами нежно, по-домашнему просто, время от времени поглаживала их перья. Её тонкие руки, будто и они были крыльями, мелькали перед глазами Бориса. Льняные волосы, слегка раскосые голубые глаза и птицы вокруг сначала напомнили иллюстрацию из какой-то детской книжки, потом известную актрису...

Эта картина в последнее время часто вспоминалась Борису Алексеевичу, когда он оставался дома один. Иногда ему думалось, что если бы умел рисовать, то обязательно нарисовал девушку, стоящую на крошечной лужайке посередине скованного грязно-жёлтыми стенами двора, которая кормит птиц. Иногда он размышлял о том, как бы сложилась его жизнь, не заверши он тогда в ту арку.

– А если б я тогда в этот двор не зашёл? Всё бы иначе могло сложиться. У Зойки-то нет, не я, другого бы привела. И детей нарожала, не от меня, а от кого-никого. А я

Но тут его фантазия явно истончилась, и он тоскливо прикинул, глядя в темноту выключенного телевизора.

– Интересно, когда же она вернётся, – думал Борис Алексеевич, – собиралась до июля у них побывать, а вчера звонила, говорит, не сегодня-завтра.

Услышал, как заёрзал в замочной скважине ключ, приободрился.

Зоя Викторовна, войдя в квартиру, быстрым взглядом пробежала из прихожей в комнату. Конечно, на кровати и с сигаретой. Носки на ковре. Пошарила глазами, бутылки не видно. Хоть это хорошо.

– Ну, как съездила? Как сынок? – это он с кровати. Ноги спустил, шарит ими, ищет тапки.

– Здравствуй что ли? – подойдя к мужу, обнимая его за шею, Зоя Викторовна поцеловала макушку с редкими посевшими волосами и пристально заглянула в глаза.

– Здравствуй, здравствуй. Однако я тебя так быстро не ждал, – закашлялся и подумал – Что-то у тебя, у нас, мать, не то, какая-то ты кислая.

– Куришь? Посмотри на себя. Жёлтый весь, прокуренный.

– А что ещё ты предлагаешь мне делать? Сама фюоть,

фьють по за границам, я тут один сажу. Хорошо Павлик сигареты принёс и хлеб. Ну, как он там?

– Как, как? – Зоя Викторовна вздохнула и, присев на стул у окна, посмотрела на крышу гаража, упирающуюся в стенку их дома, на дом напротив, – Ты птиц-то не кормил?

– Какие птицы? Ты о чём? – по-прежнему, сидя на кровати, раздражённо ответил Борис Алексеевич.

Его нездоровая худоба, опущенные плечи, щетина на щеках, голые ноги, которые, по-прежнему, никак не могли отыскать тапки – всё это было привычно Зое Викторовне и, глядя на Бориса ей становилось так больно, что хотелось бежать без оглядки и от него, и от себя... Как спешила она к старшему сыну, как надеялась... Не зря же они с Борисом, выматывая из себя всё что вмещалось в душе, жилах, на медные гроши тянули его в учёные. Да, на одних способностях он бы не смог... Везде требовались деньги. Сначала учителя, потом олимпиады, стажировки. После работы Зоя Викторовна переодевалась в безразмерный тёмно-синий халат и превращалась из инженера в уборщицу. Борис пол ночи переводил статьи. Копейки, конечно, но они выручали. Павлик шёл по накату. Учился хорошо, ровно, звёзд с неба не хватал, в олимпиадах не участвовал, ему родительское внимание было ни к чему...

– Ну, Павлик-то приходил, с ним бы и вышел, подышал и птичкам покрошил.

– Павлик, Павлик, больше ему делать нечего, как с отцом прогуливаться. Сигареты сунул, и нет его – нарочито-обиженным тоном, каким с некоторых пор он говорил с женой, – продолжал Борис Алексеевич.

– Деньги-то ему отдал, что я оставила?

– За деньгами, небось, и приходил.

– Пора меняться, больше не вытянем ему на квартиру. За наш район двушку, а то и трёшку дадут.

– А как же птички твои? – усмехнулся Борис, – Ладно. Об этом потом. Съездила-то как? Как он там?

– Да рассказывать нечего. Теперь уж никогда, наверно, Лёшка не приедет, никогда. Не выпустят. Кредитов понабрал, со своей новой. Сказал, теперь всю жизнь расплачиваться. – Зоя Викторовна старалась говорить спокойно, не выдавая своего отчаяния.

– А ту- то квартиру первой что ли оставил? – с раздраже-

нием допрашивал её муж.

– Да, ей и внуку твоему.

– Ну, а эта?

– Теперь вот ей дом строит. Ей скоро рожать.

– А живут-то сейчас где?

– Снимают.

– А ты у них жила?

– Нет, конечно. В отеле, но рядом с ними. Там не принято, чтобы родственники останавливались. Конечно, если свой дом, тогда другое дело. Правда, ужином угостили, но не дома, в кафе, Лёшка тебе подарок прислал.

Встала, вышла в прихожую, совмещённую с кухней, вкатила чемодан, открыла.

Вынула упаковку, переливающуюся серебром, золотом.

– Эка невидаль. Chivas regas. Нет, спасибо, конечно. Мы от подарков не отказываемся. А брату-то передал что-ни-

будь?

– Да, вот Клара ему шарф купила. Красивый, с птицами.

– Клара, говоришь, ну-ну. А деньги?

– О чём ты? Какие деньги? Я же тебе сказала: “Кредиты у него”. И не придет он, понимаешь, не придет.

Зоя Викторовна, которую, также как и мужа, отправили на пенсию раньше положенного срока, на вид ещё моложава, но в душе у неё уже поселилось грустное разочарование то ли в жизни, то ли в детях, ушедших от родителей куда-то далеко-далеко в своё трудное и непонятное. Правда, она бодрилась и иногда ей даже удавалось устроиться на работу, но долго нигде не держали, предпочитая молодых и длинноногих. Обычно получив расчет и, добавив что-то от проданных на блошином рынке вещей, она аккуратно складывала деньги в конверт, покупала шоколадно-вафельный торт,

игрушечную машинку для внука и ехала к младшему сыну Павлику в Купчино, где тот снимал однокомнатную квартиру.

С ним ей было проще, чем со старшим. Его жизнь казалась понятней.

Он, по-прежнему, также как когда-то и Борис, и она, ходил в инженерах. Правда, мизерная зарплата не позволяла ему идти вровень со временем, зато был у родителей на виду.

Старший же, любимец отца, кандидат наук, уже несколько лет жил в Германии и занимался... автомобильным бизнесом. Сначала он звонил часто, они даже были в курсе его дел, но потом всё реже-реже. Тревожились о его здоровье, подозревая неладное. Ещё бы. Полученные в армии травмы чем только не отзывались.

– Уехал и не обследовался, как следует, – сокрушалась Зоя Викторовна. – Конечно, руку оперировать надо было сразу же, как вернулся из армии. Теперь вот немеет.

Она видела, как сын то поднимал руку вверх, помахивая кистью, то разминал запястье, заметила и то, что иногда по ней проходила судорога и тогда он старался спрятать руку в карман. На её вопросы он отвечал кратко: “Да, это так, ерунда”. Похоже, и почки у него сдают, лицо отёкшее.

С мыслями о сыновьях Зоя Викторовна села на кровать к мужу, обняла, на этот раз за плечи. С тревогой вглядываясь в его глаза, вдруг вспомнила, что когда-то, когда она кормила птиц, он, в ослепительно белой форме, зашёл к ним

во двор и, испугавшись за неё, бросился на выручку... Раз-
ве забудешь? А та июньская ночь, когда они стояли на на-
бережной, у чёрной в золотых огнях реке, ожидая чуда? Ну
что, кажется, необыкновенного в том, что разводят мосты? С
детства знакомое, должно стать равнодушно-привычным, но
почему-то каждый раз, как впервые. Она до сих пор не-нет
да бегает к Дворцовому и каждый раз так колотится сердце,
когда створки моста медленно, почти незаметно начинают
двигаться...

Тогда, много лет назад, стоя на набережной и согреваясь
сильным мужским телом, ей казалось, что и они с Борисом,
как корабли по Неве, пойдут по жизни широко, вольно и,
готовая всё принять, она шагнула, забыв обо всех наказах
матери, а та встретила её утром шёпотом:

– Шалая, шалая, иди, ложись скорее в постель, пока отец
не проснулся...

– Ничего, Боренька, ничего. Поменяем квартиру, будем с
Павликом жить, будешь за внучонком присматривать. Я пой-
ду работать, видишь, я же ещё ничего, даже по заграницам
разъезжаю, – и опять, будто поджидая кого-то, взглянула в
окно, на отремонтированную крышу старого гаража, пере-
строенного во времена её бабушки из экипажной, служив-
шей когда-то всему их подъезду сараем для дров.

Сегодня она, едва войдя во двор, сразу заметила новый Опель у подъезда, рабочих, устанавливающих стеклопакеты в квартире, где раньше жили Белоусовы. Над окнами рядом с Белоусовыми, крупно-грязно корёжилось: “SALE SALE SALE” и на подоконнике грудой хлама, обречённо вздыхая шелестом страниц, умирали книги... Ей вспомнилось, как соседка Белоусовых, Ольга Фёдоровна, незадолго до смерти сетовала, что её дети смеются над ней, называют книгоманкой и часто повторяют: “Ну, что ты в дом книги всё тянешь да тянешь, всё равно же, когда помрёшь – выкинем, так и знай. Лучше прикид себе новый купи, что в старье-то ходишь...”

Зое Викторовне хотелось реветь, как в детстве, когда разбила коленку, сбегая по узкой крутой лестнице во двор, где мама развешивала бельё, похожее на белых, прилетавших с залива птиц. Но сдержалась. Этого ещё не хватало.

Сказала только:

– Приготовлю что-нибудь. А потом выйдем. Погода сегодня замечательная, тепло и ни ветерка.

– В холодильнике, конечно, пусто, – это про себя, – ничего, сейчас сбегая. Эх, Павлик, просила же...

И уже с сумкой в руках, по обкусанным временем ступеням с ободранной краской на стенах – вниз.

Там, на первом этаже, сбоку, у неё – веник. Между делом половичок поднять, подмахнуть. Теперь около подъезда. Никто кроме неё, никто.

– Ох, эти новорусские, квартир накупили, сдают, наживаются, хоть бы подмели когда, во дворе помойку устроили. А этот, Урюк чёртов, привратник, е-ть его, сиднем сидит, не почешется. Просила, ведь, приглядывай, и не за спасибо. Сто рублей дала.

Из их двора через арку – в первый. Вот она её клумба.

– Конечно, и цветы никто не полил. Засохли. Теперь пересаживать. Запахи ещё эти. Из всех щелей едой прёт. Тут у них пивная, тут пиццерия. А там, где художники жили, теперь китайский ресторан. За углом, в подвальчике, магазин. В городе теперь этих магазинчиков, не сосчитать.

И всё приезжие, всё чужие, – досадует Зоя Викторовна, с болью вспоминая бывших соседей, одноклассников...

Покончив с делами, накормив мужа, она выходит во

двор, подметаает асфальт, перекапывает землю на крошечной клумбочке размером два на три и, подняв голову, вглядывается в уголок голубого неба, зажатого колодцем двора, ждёт, когда прилетят птицы. Обычно они прилетают в тихие ясные дни. Об их приближении Зоя Викторовна узнаёт сначала по отдалённому шороху ветра, потом по сухому звуку крыльев. Иногда они прилетают молча, иногда перекрикиваются друг с другом. Точного названия этих птиц женщина не знает, но когда-то мать называла их альбатросами. У них большие красивые глаза похожие на человеческие. Раньше, когда она, окружённая плотной стаей птиц стояла во дворе, из окон выглядывали соседи, и тогда Зоя махала им рукой, делая знаки, чтоб не мешали. Новых соседей птицы не интересуют, они живут за плотными шторами или жалюзи. Правда, время от времени, сменяя друг друга, прокатывают чемоданы квартиранты, но эти птиц боятся и, опасливо озираясь, жмутся к стенам домов и стараются побыстрее проскочить мимо. Зоя Викторовна знает, что птицы не обидят её, она даже думает, что у неё с ними какая-то близкая связь и старается отгадать кто из родных прилетает к ней. Как-то она даже придумала, что это ангелы...

Ближе к вечеру, когда блаженный июньский свет белой ночи начинает кружить головы, Зоя Викторовна и Борис Алексеевич выходят на улицу. Он, сутулясь, идёт чуть впереди, не очень уверенной после инсульта походкой, опирает-

ся на палку. На нем серый летний пиджак, левый рукав безвольно болтается. Она рядом с Борисом, напряжённо следит за каждым его движением. Ему кажется, что, как когда-то давным-давно, он может долго гулять по парку, перейдя через мост, дойти до Петропавловки или выйти к Зимнему, а потом сесть на ракету и махнуть в Петергоф.

Но, пройдя привычный маршрут, несколько метров от арки вдоль проспекта, слышит просящий голос жены:

– Пора бы домой, Боренька.

– Ну, вот ещё. Тебе бы только домой. Смотри, какой вечер.

– Пора, а то устанешь.

– Пора, пора... – Ворчит Борис Алексеевич. – Только о птицах своих и думаешь – прилетят, не прилетят.

– А ведь он прав, – думает Зоя Викторовна и вглядывается в голубое, чуть затуманенное близостью моря небо с лёгкими, похожими на птиц облаками.

– Сейчас пойдём домой, – говорит она мужу голосом, которым добрые мамы разговаривают с детьми, – а завтра пой-

дём на Невский. Завтра праздник. Ты же любишь, когда по городу с оркестром. Помнишь ты рассказывал... – Но тут она замечает, что Борис Алексеевич резко наклоняется куда-то вбок и, пытаясь удержать, поспешно поддерживает...

На следующее утро, достав из гардероба белую тужурку, и, внимательно осмотрев, не нужен ли ремонт, Зоя Викторовна одевает её на мужа. Себе на голову накидывает белый кружевной плат. Медленно идут они к Невскому, откуда уже гремит музыка. Их обгоняют родители с детьми, молодёжь. Останавливаются на углу, откуда видно приближение колонн, их разворот вправо к Дворцовой площади. “Подними боевые знамёна ради, веры, любви и добра” поёт про себя не словами, а душой Юрий Алексеевич, сливаясь с ритмом марша. На несколько секунд музыка замирает и слышны только голоса людей, смех. Но вот, заглушив звуки улицы, разрывая воздух, взлетая над городом, раздаётся: “Славься, Славься!” и небо вспыхивает серебристо-белой стаей альбатросов.

– Прилетели, прилетели, – восторженно глядя в небо, шепчет Зоя Викторовна, – теперь и умереть можно... – и, подхваченные исполинскими белыми крыльями, Борис Алексеевич и Зоя Викторовна летят над городом любви, надежды и боевой славы. Их белые одежды сливаются с белым светом храмов, белыми парусами яхт, плывущих по Неве,

белыми облаками.

В Купчине птицы опускаются на детской площадке, к ним подбегает малыш, с зажатой в руке копеечной машинкой, и, заглядывая им в глаза, протягивает руку, чтобы погладить белые перья, но тут, соскакивая со скамейки, на которой только что перебирала острыми ноготками клавиатуру мобильного, к ребёнку устремляется темноволосая женщина. Хватает за руку и тащит, тащит прочь. “Они же тебя исключают, ты что...” “Хочу, хочу птичку...”, – плачет мальчик.

Птицы медленно поднимаются в воздух и, сделав прощальный круг, летят дальше...

Инесса Марковна

Почему Инесса Марковна так сопротивлялась новой жизни никто не знал. Очевидно, она и сама не ответила бы на этот вопрос. Нервно бы дернула плечом, скривила рот и закурила. Даже теперь, когда у неё родилась очаровательная внучка, голубоглазая, с ямочками на щёчках и пухлых локотках, Инесса Марковна не изменила своей привычке и продолжала курить в квартире, правда, в своей комнате. Ночами же, когда, как ей казалось, все засыпали, она, как и прежде, в наброшенной поверх ночной рубашки шерстяной кофте с растянутыми рукавами, долго ходила по коридору. Потом, притулившись в старом продавленном кресле, капала валокордин в чашку с кофе и, помешивая напиток дедовой се-

ребряной ложечкой со стертым вензелем, читала растрепанный томик старика Хэма. Питалась она отдельно от семьи сына и никак не связывала остаток своей жизни с жизнью молодёжи.

Многое в ней удивляло меня: в наше всемолитвенное время она даже не собиралась ни ходить в церковь, ни молиться перед иконами, которых в её комнате не наблюдалось, ни обращаться мысленно к всевышнему в минуты наибольших огорчений. Телевизионные шоу и остросюжетные сериалы она игнорировала и телевизором почти не пользовалась, правда, иногда, очень ненадолго, нажимала на шестую кнопку.

В её комнате, так же, как и много лет назад, загромождая микроскопические квадратные метры, лежали всё те же журналы, которые когда-то она и её приятели рвали друг у друга из рук, чтобы, прочитав за ночь, передать другим. На разложенном диване, покрытом клетчатым исландским пледом, красовались очки, раскрытые книжки с пожелтевшими страницами и всё та же неизменная кофта с растянутыми рукавами.

Скучно жила Инесса Марковна... Но и её остановившаяся жизнь, не приемля ничего нового, всё же искала каких-то эмоциональных всплесков, и тогда она шла в парикмахер-

скую. Ту, бюджетную, в которой стригли ученики колледжа. После стрижки, как и во времена первой и второй молодости, ощущая прилив новых сил, её неудержимо влекло в театр. Когда-то ей иногда удавалось ухватить лишний билетик в Таганку... Теперь же, как она полагала, ухватывать там стало нечего, и она нашла себе новую отдушину. В переулке около дома Станиславского.

В Около ей всё было по вкусу, но с некоторых пор Инессе Марковне стало казаться, что там играют одну и ту же пьесу. Обилие же шинелей на сцене её утомляло: она никогда не любила военных и лишь странное чувство возвращения в прошлое, в свою прошлую будто бы ещё живую жизнь, заставляло её вновь и вновь вспоминать о театре Около дома Станиславского. Она надевала коричневое платье, одиноко болтавшееся между пальто с черным каракулевым воротничком стоечкой и кофтой с растянутыми рукавами, садилась в пустой вагон на конечной станции метро и, плутая в переходах, доезжала до Тверской...

Как-то, уже после того пожара, который выселил театр в подвал, Инесса Марковна, перейдя улицу, завернула за угол и увидела зияющие чёрные провалы обгоревшего старинного доходного дома, соседствующего с театром. Ей вдруг показалось, что сумасшедший с бритвой в руке крадёт и за ней, когда она тёмными, пустыми переулками после спектак-

ля спешит к главной улице столицы. Она подумала: “Зачем я-то ему нужна. Зачем ему мои журналы, мой театр? Теперь, когда он владеет всем: землей, ее недрами, душами больших и малых, зачем ему этот театр, моё прошлое, прошлое трех сестёр? ” И неожиданно мелькнула мысль, а что, если этот некто хочет стереть и её, и этот театр, и его зрителей, и её журналы, и книги, и библиотеки, вроде той, над оврагом, в которой она недавно была.

Рассуждая так, Инесса Марковна встаёт с дивана, открытого исландским с проплешинами пледом, надевает коричневое платье, одиноко болтающееся на вешалке в старом шкафу, и едет в театр Около.

День согласия и примирения

1.

Сегодня Никитична не решилась перейти Вынцу по шатким мосткам. Вода в реке после дождей была беспокойна, вздувалась, бурлила, била по доскам. Никитичне пришлось вернуться назад и дойти до того места, где река сужалась. Там подъём на соседний склон оврага был круче, но другого пути не было.

Никитична остановилась, взялась за края платка и перевязала его так туго, что платок врезался ей в горло. Потом, прижав к себе пожелтевшую папку, на которой было написано “Дело №” начала медленно подниматься. Свободной ру-

кой хватаясь то за корни, то за ветви кустарника, боясь оглянуться, она то и дело останавливалась, чтобы перевести дыхание. Наконец выбравшись на пологое место, тихо пошла по тропе, думая о том, что же она должна была бы ответить вчера Катерине, когда покупала у той шоколадку для Павла.

Катерина, которую на селе в глаза называли Екатериной Алексеевной, а за глаза – Гудковой, когда-то работала в райкоме, директорствовала в местной школе. Теперь же, став продавщицей в единственном тут магазине, так обиделась на новое время, что её уставшее лицо приобрело брезгливо-скорбное выражение, которое менялось только тогда, когда в магазин входил кто-то из покупателей и к этой скорбной брезгливости добавлялось ещё что-то надменное. В магазине она обычно скучала, привалившись тяжёлой грудью к прилавку и подперев мясистой рукой щёку. Вчера, когда в магазин вошла Никитична и попросила шоколадку, она, презрительно улыбнувшись, поинтересовалась: уж не своему ли психу та собирается её нести. Услышав в ответ, что – да и пожалеть его надо, Катерина гневно вспыхнула и, зло посмотрев на Никитичну, будто та была перед ней в чём-то виновата, выпалила:

– Его государство кормить должно, а не бабки столетние. Или этому государству теперь на всех начхать!? – и кинула на прилавок соевую плитку.

Когда же Никитична сказала, что ей такая не нужна, что ей нужна настоящая, возмутилась ещё больше:

– Настоящую для психа?

– Он не псих, Катерина. Вот смотри, – Никитична протянула продавщице папку.

– Что ты мне папку тянешь? – ухмыльнулась Гудкова.

Взяв папку в руки и открыв её и увидев пожелтевшие от времени листы бумаги, Гудкова воскликнула:

– Так ведь здесь ничего нет!

– Будет. Он сюда всё напишет.

– Что он напишет? Что он написать-то может? – спросила Гудкова.

– Историю нашего царя.

– Твой сумасшедший?

– Он не сумасшедший, он писатель, – твёрдо сказала Ни-

китична, забирая папку с прилавка, – Катерина, дай мне вон ту шоколадку, ту, самую дорогую.

Отсчитав деньги, Никитична спрятала плитку в карман и уже собралась уходить, как вдруг Гудкова, побледнев, неожиданно ловко перегнулась через прилавок. Никитична невольно отшатнулась, рука Гудковой повисла в воздухе, и только тут Никитична поняла, что Гудкова хотела вырвать у неё папку.

– Ишь, до чего они дошли! Теперь уже психи про царей пишут! Историю переписывают! – кричала Гудкова вслед спешащей прочь от магазина Никитичне.

Гудкова кричала что-то ещё и ещё, но Никитична уже не слышала её слов, а только шла, прижимая к себе папку, и удивляясь той злости, которая сейчас исходила из Катерины. Она вдруг вспомнила, что так же когда-то в двадцатых годах ненавидели в их деревне комиссара, который квартировал у неё некоторое время.

Он был вовсе не так плох, как о нём говорили. Молодой, курчавый, с блестящими почти чёрными глазами, он в присутствии хозяйки, тогда молодой девки, отвечал невпопад, всё благодарил за что-то.

Когда узнал, что хозяйка любит музыку, сказал, что привезёт из барской усадьбы пианино, только не привёз, поскольку деревенские мужики изрубили это самое пианино на дрова. Пианино он не привёз, зато привёз ей музыкальный сундучок с крышкой, весь в узорах. Когда Никитична открывала крышку, в сундучке звучала музыка.

Она помнила, как комиссар пристально разглядывал фотографии, развешенные по стенам её избы. Он подолгу стоял перед фотографиями родственников Никитичны, спокойных, уверенных в себе крестьян; героев турецких войн с обнажёнными шашками, словно пытаясь понять природу их силы и отваги. Иногда, глядя на снимки, он с недоумением смотрел на Никитичну, показывая глазами на какой-то из снимков, и она думала, что он хочет её о чём-то спросить. Однако, комиссар молчал. Наверно, стеснялся. Чаще всего комиссар останавливался возле фотографии царя. Он пристально рассматривал его лицо, глаза, уставшие руки... Никитична заметила, что когда комиссар впервые взглянул на фотографию, то покраснел, вздрогнул и быстро вышел из горницы.

На людях же этот застенчивый паренёк, замечая недовольство местных новыми порядками, вытаскивал наган и начинал кричать:

“Всех вас перепишу, контра! Все под расстрел пойдёте!”

После этих-то слов и пошли в деревне слухи о расстрельной папке, в которой комиссар строчит списки неблагонадёжных. Поговаривали, что прячет её где-то у себя дома. Спрашивали об этом Никитичну, и она честно отвечала, что никакой папки не видела. В деревне ходили слухи, что мужики собираются бить комиссара, только всё никак не могут решиться.

И всё же на Пасху комиссара убили. Как раз в то время, когда Никитична христосовалась с дальними родственниками в другой деревне.

Вернувшись домой, Никитична увидела своего квартиранта, лежащего на полу в луже крови. Закричала. Бросилась к нему и заплакала от бессилия.

Через день-два понаехали красноармейцы на подводах и в селе стало пусто и тихо. Прикрыв окна ставнями, все затаились в избах. Никитичну допрашивал следователь, но не слишком строго, а она только плакала и всё никак не могла успокоиться.

Комиссара хоронили в полдень. На кладбище согнали народ. Только Никитична пришла сама, по своей воле. Солда-

ты салютовали из винтовок. А ночью на том же кладбище, где похоронили комиссара, расстреляли несколько мужиков. После этого деревенские стали коситься на Никитичну: уж не она ли сдала мужиков. А она плакала и боялась поднять на односельчан глаза.

Спустя месяц, когда Никитична собралась побелить печь за притолокой, наткнулась на папку, которую раньше не видела. Вспомнив рассказы о расстрельной папке, она решила, что никому её не покажет и уже собралась бросить её в печь, однако решила прежде открыть. В папке оказались только листы белой бумаги.

Вот тогда-то она и положила папку на дно музыкального сундучка, где та и пролежала все эти годы.

Припоминая эту историю, Никитична гнала от себя ещё одно страшное видение, которое после похорон комиссара не отпускало её. Тогда, на кладбище, подойдя к гробу, она сначала удивилась тому, что гроб такой большой, а комиссар маленький. Потом с недоумением посмотрела на его почти детское лицо, на белую рубашку, которой было слишком много и казалось, что хоронят не человека, а рубашку, снизу прикрытую кумачом. Никитична тогда почему-то вдруг захотела подойти и поцеловать комиссара в лоб, но там стояли красноармейцы и она не посмела. Стоя в ногах покойно-

го, она вытягивала шею, чтобы лучше увидеть его лицо, но взгляд всё время натыкался на носы сапог, в которые был обут покойник. Она с недоумением смотрела на красные подошвы, на следы рыжей глины, забившейся между каблуком и подошвой и ей показалось, что она уже когда-то видела эти сапоги с красной подошвой. Прощаясь, с комиссаром она неожиданно дотронулась до его ноги, как когда-то её учила мать...

Спустя несколько дней, на радоницу, она зашла на могилу красавца-барина, убитого на империалистической и увидела, что мраморное надгробье валяется в стороне, а на могилу наброшены комья свежей, ещё не осевшей рыжей глины. Через несколько лет ей объяснили, что комиссара хоронили в барском гробу и в барских сапогах.

Никитична поморщилась, как будто от боли, вспоминая живого и мёртвого комиссара, его похороны...

Переведя взгляд в сторону, в какой уже раз отметила, что всё кругом заросло: и улица, и овраг, и колхозные поля, а рыжий косогор, на котором когда-то стояла церковь и было старое кладбище, краснел ничем не прикрытой глиной.

Ей припомнилось, как ломали их здешнюю церковь, и как баба Феша вдруг повалилась на землю и закричала: “Анти-

христ пришёл!”

Из битого кирпича этой церкви тогда задумали построить школу, но то ли кирпич не подошёл для школы, то ли школа кирпичу не понравилась. Отвезли кирпич в соседнее село и кое-как слепили из него коровник, в который, как коров не загоняли, так они и не вошли. А на кладбище почему-то хоронить запретили, и деревенские стали хоронить своих на соседнем холме.

Когда все кресты на погосте сгнили, остался только металлический пилон с пятиконечной звездой над могилой того самого комиссара. Но и пилон однажды сгинул. Поговаривали, что местная молодёжь сдала его в скупку.

Ни дерева, ни кустарника, ни травы...

Однако, Никитична, по-прежнему, нет-нет да крестилась, глядя на невидимую церковь. Вот и сейчас перекрестилась, и отправилась дальше.

Дикий татарник хватал Никитичну за подол, и она удивлялась, что натоптанная годами тропа заросла. Когда-то очень давно здесь было поле. У родителей мужа на нём росла то пшеница, то гречка, а в последний год перед тем, как случилось то, что старики так до смерти и не смогли понять, сле-

пили глаза подсолнухи.

Потом вышла к берёзовой аллее, которую когда-то сажала на субботнике вместе со своими детьми, прошла мимо школы, посмотревшей на неё провалами окон и вышла к станции.

Пройдя мимо кирпичного вокзала, построенного как раз в тот год, когда царь ездил в Саров, она вспомнила, как тут торжественно и с молебном у иконы Николая Чудотворца открывали это здание, как шли крестным ходом от самой близкой церкви, вспомнила господских девочек в белых платьях с кружевными белыми зонтиками.

А как тогда ждали царя! Все почему-то решили, что он должен проехать здесь именно сегодня. Чтобы только не пропустить царёв поезд и встретить его проезд гимном, певчие из их церкви даже заночевали в шалаше возле здания вокзала. С утра к станции повалил народ из окрестных деревень. С нетерпением всматривались вдаль, прислушивались... Но только в тот день царь так и не проехал. Его поезд через пару недель, когда мужики и бабы гурьбой возвращались с сенокоса, слегка сбавив скорость и прогудев, проехал мимо станции.

Вот тогда-то в окнах одного из вагонов мелькнули барыш-

ни в белом и мужчина в белом с золотом.

– Это царь! – сказала мать.

На этот же вокзал, спустя несколько лет привезли тело барского сына, красавца, и они всей деревней ходили на него смотреть. Бабы голосили. А мать почему-то всё подталкивала её к гробу:

– Дотронься до его ноги. Тогда покойников бояться не будешь, – шептала она, пробираясь сквозь толпу. – Ноне покойников много будет.

Никитична припоминала, что она пошла было к гробу, но какой-то офицер не пустил. Когда же он отвернулся, ей всё-таки удалось дотронуться до ноги красавца, и она увидела красную подошву его сапога.

2.

Прошептав:

– Господи помилуй! – Никитична осторожно перешла через железнодорожные пути и направилась к одноэтажному барaku, где помещалась психиатрическая лечебница.

За отвалившимися кусками штукатурки фасада лечебни-

цы открывался тёмно-красный осклизлый кирпич, пропитанный сыростью. Часть окон была забита досками.

Подходя к лечебнице, Никитична невольно вспомнила то тяжёлое время, начало девяностых. Всё тогда вокруг вроде было спокойно, не было войны, но вагоны поездов проезжали с разбитыми окнами, а у них, на бывшем колхозном дворе, коровники стояли без крыш, а в эту лечебницу перестали завозить продукты.

Многие остались без работы, подались, кто куда за куском хлеба. Был даже момент, когда главный врач лечебницы, Владимир Николаевич, остался один как когда-то в голодном сорок шестом. Владимир Николаевич любил повторять, что, если бы тогда не Никитична – сбежал бы.

А Никитичне удалось успокоить Владимира Николаевича и накормить больных. Правда, для этого ей пришлось ходить по вагонам электричек и просить милостыню.

Никитична всегда была для этих больных даже не сиделкой, а родной матерью. Потому не могла без боли смотреть, как санитары, обращаются с её подопечными.

Особенно тяжёл на руку среди санитаров был Алексей, брат Гудковой.

Любого больного он мог схватить за шиворот и оттащить в палату для буйных, где больного привязывали к кровати, вводили магнезию. За пролитый суп, несвоевременное посещение туалета и вообще за любоеслушание. Даже Виктора, обычно тихого и покорного, которого все тут называли Шапочкой.

Вспомнила Никитична, как в те годы у больных тащили последнее.

Как-то она столкнулась с поварихой Евдокией. Та шла из столовой с полными сумками в руках.

– Ты что же у несчастных изо рта тянешь? – остановила её Никитична. – Они и без того впроголодь живут, – остановила её Никитична.

– Тащу. На, гляди, что-глаза-то отводишь!

Никитична потупила взор.

– “Наверно, дочке несёт. –подумала она. – Она же у неё после Чернобыля всё болеет. И внучка у них вся прозрачная как бацилла. И все есть хотят... Нет, тут судить нельзя.”

Никитична не раз наблюдала за тем, как Евдокия приводит на работу внучку, одетую в какие-то обноски, сажает её рядом с кухней, и та сидит безропотно, дожидаясь бабку.

Конечно, брать у больных – большой грех, – размышляла Никитична, – но ведь психическим этим хоть что-то от государства достаётся, а у Евдокии на руках больная дочь да внучку поднимать надо, а средств ей взять неоткуда. Зарплату какой месяц не платят... Она своих спасает. Нет, тут судить невозможно, а я вот осудила...” Никитична никак не могла решить для себя что же со всем этим делать и как быть, когда всем надо помочь, а на всех не хватает. И так ничего не придумав, решила, что рано или поздно уйдёт из лечебницы, чтобы не разоряться и не осуждать человека.

И в начале двухтысячных, когда в лечебнице вновь появились медсестры и санитары, да еще завхоз с бухгалтером, она ушла отсюда – вернулась к себе, в свою жизнь, где было тихо и покойно, куда раз в году на пару недель из города приезжали внуки и правнуки и наполняли ее существование криком, смехом и плачем. С улыбкой глядя на них, она думала, что как же все теперь хорошо, что теперь и умирать можно. Но как только начинала радоваться, ей тут же приходили на ум ее дорогие психи, и она в тайне ото всех колола себя до крови ножом в ладонь, чтобы прийти в чувство, и на следующий день, опустив голову, ругая себя, почти покаянно шла

в лечебницу.

Сегодня она пришла сюда к Павлу.

3.

Впервые она увидела этого Павла в электричке, когда ездил в райцентр переоформить пенсию. В холодном вагоне было малоллюдно. Безучастные друг к другу пассажиры оживлялись только когда в вагон входил инвалид с гармошкой или те, суетливые, которые изображали погорельцев... Никитична заметила сидящего недалеко от входной двери бродягу. Седеющие пряди жирных волос спускались тому на лицо. Казалось, что он смотрит в окно, но по напряжённому затылку Никитична поняла, что он прислушивается к разговорам в вагоне. Вдруг, оторвавшись от мелькавшего перед ним пейзажа, он резко обернулся, и Никитична увидела оплывшее лицо с синюшными отёками и глаза, которые показались ей и весёлыми, и злыми. В ответ она приветливо улыбнулась.

И тут бродяга сказал:

– Вот, мамаша, всё потерял. Всё, что было нажито непосильным трудом. Не поможете ли?

И Никитична отдала ему то, что было у неё в кошельке.

Спустя несколько дней, проходя мимо железнодорожной станции, Никитична заметила этого бродягу. Он сидел на тротуаре, подложив под себя какую-то газету, а рядом с ним стоял сержант, тот, безразличный, который обычно ходил по вагонам вместе с ревизорами. Сунув руку за пазуху бродяге, но видимо, ничего не найдя, сержант прохрипел ему что-то на ухо и вдруг ударил ногой в живот. Бродяга повалился на бок, поджал колени к животу. закрыл голову руками.

Никитична бросилась к сержанту.

– Это же больной! – закричала она. – Его надо в больницу доставить, а вы бьёте.

Сержант знал Никитичну, помнил, как она ходила когда-то по вагонам, прося на содержание психов в местном стационаре. Сколько раз он собирался запретить ей это, но как-то всё не решался. И вот сейчас, едва увидел Никитичну, почему-то отпрянул от бродяги словно ему стало стыдно. Взяв того за шиворот, он повёл его к УАЗу и впихнул в заднюю дверь, кивнул Никитичне, чтоб та села рядом с ним на переднее сидение.

Доставленный в лечебницу бродяга, казался действительно невменяемым. На вопросы медперсонала отвечал плакси-

вым голосом, повторяя одну и ту же фразу: “Всё потерял” и заискивающе смотрел на окружающих.

Однако ни на кого здесь кроме Никитичны, он не произвёл впечатления. Владимир Николаевич лишь скользнул глазами по новому пациенту и тихо спросил Никитичну: “Откуда ты привезла этого мазурика?”

Но в глазах Никитичны была такая мольба, что Владимир Николаевич, обращаясь к сержанту, устало произнёс:

– Ладно, ведите его ко мне в кабинет.

Так в стационаре появился новичок Павел.

“Поступил по скорой” написал Владимир Николаевич сверху медицинской карты и подчеркнул эти слова. Про себя же пробурчал:

“Жалеет всех Никитична, а меня, кто пожалеет?”

Никитична вошла в палату и прикрыла за собой дверь. Из угла в угол ходил Виктор. Худой, высокий с несуразно длинными руками и, как всегда, в меховой, детской шапочке с ушами. Он совсем не изменился за те годы, которые его знала Никитична. Казалось, что его лицо не имело возраста.

Но стоило подойти поближе, всё становилось на свои места: судорога, сжав однажды, навсегда исказила его лицо подобием улыбки. К своей шапке он относился как к живому существу. Всё время гладил её и бормотал: “Красивая. Какая красивая”. Как-то он даже шёпотом рассказал Никитичне, что иногда его шапка поёт словно ангел.

У забитого тёсом окна стоял Степан и ковырял доску пальцем. На понурых плечах Степана мешком висела грязная фуфайка с названием именитого футбольного клуба. Эта фуфайка была Степану дороже родной матери и носил он её так, словно это был генеральский мундир. Обычно, завидев приближающегося санитаря, Степан кричал: “Не тронь меня!” и, вставая в бойцовскую стойку, начинал пыхтеть, прыгать по палате, выбрасывать кулаки, изображая нападение, но никого не разу не только не ударил, но даже и не задел. Повернувшись к вошедшей в палату Никитичне, Не тронь меня улыбнулся ей и вновь вернулся к своему занятию.

Никитична подошла к кровати, на которой сидел Павел. Ещё тогда, в электричке, он показался ей образованным человеком. Чем-то напомнившим спившегося учителя. И вот сегодня едва она вошла, он тут же низко поклонился ей, уселся на кровать, взял руку, долго разглядывал ладонь, а потом тихо произнёс какие-то странные слова. “Это, мать, латынь, – самодовольно усмехнулся он, – времена, – говорю, –

меняются, и мы меняемся с ними. Ну, принесла мне бумагу?”

Никитична протянула ему папку. Усмехаясь, Павел

чётким, почти каллиграфическим почерком вывел на обложке “Жизнь Павла”.

– Вы слово “царь” пропустили, – подсказала Никитична.

– Ну, что же можно и царя вставить, – согласился Павел и вдруг загоготал. Потом после слова “жизнь” он поставил галочку и сверху написал: “царя”.

Тут дверь в палату открылась, и санитарка скомандовала:

– Мальчики! Обедать!

Однако никто из больных, находившихся в палате, не обратил на неё внимания. И только после того, как на пороге появился играющий желваками на смуглом лице Алексей, все тут же покорно гуськом потянулись в столовую.

Последним поднялся Павел.

– Подождите. Вот это вам, когда работать будете. Это ещё

учителя мне советовали, когда дети учились. Говорили для соображения полезно, – робко заметила Никитична.

С этими словами она положила перед ним шоколад на тумбочку.

Павел, с недоумением глядя на неё, пожал плечами, усмехнулся и вышел.

4.

Екатерина Гудкова маялась, ожидая конец рабочего дня. Наконец, повесив амбарный замок, она быстро пошла по улице. Лицо её, словно осенённое каким-то презрением ко всему сущему, было решительным и твёрдым.

Подойдя к дому брата, сложенного из такого же самодельного кирпича, как и другие местные постройки, она тут же по-хозяйски распахнула дверь и прямо с порога заорала:

– Что у вас в психушке ещё за писатель такой объявился?

– Откуда информация? – спросил Алексей, отрываясь от телевизора и тяжело поднимаясь навстречу сестре.

– Никитична какую-то папку ему несла. Ты мне эту папку

принеси. Хочу знать, что он там пишет. Смотри до чего у них дело дошло, психи историю переписывают.

Заметив рядом с Алексеем на столе кулич и крашеные яйца, она насмешливо взглянула на него, как когда-то в детстве, и спросила:

-Алёшка, а это ещё что такое?

- Да вот Валентина испекла, - словно оправдываясь, промямлил Алексей.

- А ты что же подкаблучник смотришь? Думаешь поможет вам ваш бог?

И ещё раз, с усмешкой посмотрев на брата, хлопнула дверью.

Для Никитичны, не смотря на всю строгость ограничений, Страстная неделя всегда была самой светлой и желанной. Она читала Апостолов, Псалтырь, Евангелие, вычитывала вечернее и утреннее правило, не притрагивалась к скоромному, пол ночи стояла на коленях перед иконами. В чистый четверг белила печь, очищала от застаревшей копоти потускневший светильник, перемывала чугуны и посуду, делала пасху, пекла куличи, красила яйца. Каждый раз ей ка-

залось, что она не сможет осилить то, что делала, но, однако, делала и удивлялась откуда брались силы.

В её селе по праздникам было принято разбирать одиноких больных по семьям. И теперь, когда этот обычай канул в лету, ей захотелось вдруг взять на Пасху кого-нибудь из больницы к себе. Она подумала о Викторе, Не тронь меня, Павле. Первых двоих она бы кормила, а Павел мог бы спокойно взяться за написание своей истории. Уж, она бы обеспечила ему уход и покой.

Почему-то Никитична была уверена в том, что Владимир Николаевич не сможет отказать ей в этой просьбе.

В Великую пятницу Никитична отправилась в больницу.

Все окна больничного барака были открыты настежь и санитарки с мокрыми тряпками мыли стёкла.

По пустому коридору Никитична подошла к кабинету главного врача,

постучала, однако, на стук никто не ответил.

Никитична удивилась, что Владимира Николаевича в это время нет на месте. Но, подумав, что, очевидно, он где-то

на территории, отправилась на больничный двор. Едва вышла, как столкнулась с Алексеем. Увидев Никитичну, Алексей попятился. Это показалось Никитичне странным.

Да и вид Алексея, который был чем-то встревожен, удивил её.

– Алёша, а где же Владимир Николаевич? – спросила Никитична, отметив про себя, особенность санитара – смотреть иногда мимо собеседника, как бы прятать глаза.

Уехал на Пасху в Вышу. Помолиться. А, может, новое место для стационара присматривает. Нас ведь скоро прикроют. Небось, слыхала? Никитична спросила, кого же Владимир Николаевич за себя оставил и Алексей, как-то странно улыбнувшись, и, посмотрев по сторонам, неожиданно воскликнул: “А меня”. На его лице, обычно скучном и неприметном, вдруг появилась детская, глуповатая самодовольная улыбка, которую, он изо всех сил пытался заменить выражением начальственной значительности.

– В общем так, Никитична, в палаты к психам сегодня не ходи. Там уборка там, наследись.

На просьбу Никитичны отпустить к ней на Пасху Виктора и Павла Алексей, округлив глаза, ответил решительным

отказом.

5.

“Почему Владимир Николаевич не сказал мне, что собирается в Вышу?” – тревожно спрашивала себя Никитична.

Обычно перед поездкой в Вышу Владимир Николаевич приходил к ней домой и приносил какое-нибудь лекарство.

– Вот, – говорил он, – лекарство тебе, швейцарское. Попринимай.

– Да, я, Владимир Николаевич, на здоровье не обижаюсь. Это не дай бог дожить до таких лет, чтоб здоровье потерять.

– Попринимай, попринимай. – говорил Владимир Николаевич, – организму помогать надо, – и протягивал глянцевую упаковку Никитичне. Та благодарила и убирала его в свой сундучок.

Когда же при встрече Владимир Николаевич спрашивал принимает ли она лекарство и Никитична утвердительно качала головой, Владимир Николаевич недоверчиво спрашивал:

– Ну, и сколько раз в день пила? И слышал всегда один и тот же ответ:

– А сколько надо, столько и пила.

Владимир Николаевич приходил всегда какой-то бледный и говорил, что оброс грехами пора ехать в монастырь, пора исповедоваться, причаститься.

Никитична тут же доставала заранее заготовленные записки и деньги. Владимир Николаевич брал и то, и другое, потому что как-то услышал от Никитичны:

Это я не тебе, это я Богу даю, – и понял, что спорить с Никитичной бесполезно.

Потом он садился за стол и тут же к нему на колени запрыгивал кот. Владимир Николаевич гладил его, и пил чай, а, попив чая, вставал, осторожно снимал кота и, положив записки с деньгами в портфель, надевал плащ, берет...

Никитична вспомнила, как однажды Владимир Николаевич, увидев её за прялкой спросил:

– А чётки мне сплести сможешь?

И она сплела, соединив две плотные нити в одну...

– Что ты тут околачиваешься? – вдруг услышала она за спиной голос санитарки Евдокии. – Всё высматриваешь, а ничего не видишь. А здесь такое творится!

– И что же здесь творится? – спокойно спросила её Никитична.

– А то... Вчера я иду по коридору, заглянула в палату, а там твой писатель что-то рисует, а вокруг него стоят психи и гогочут. Я было туда, да меня Владимир Николаевич в сторону отодвинул. Подошёл к твоему писателю, взял у него из рук папку, посмотрел, посмотрел и говорит: “Я тебя, подлеца, выписываю, чтоб духа твоего сегодня же здесь не было”. Забрал эту папку, сунул себе под мышку и пошёл в кабинет.

Ну а Павел –то этот как Владимир Николаевич вышел и зашипел ему в след:

“Сука ваш врач! Ладно, сам напросился!”

– Путаешь ты что-то, Евдокия, – дрогнувшим голосом произнесла Никитична, -он ведь не рисует, он историю пишет, про нашего царя.

Евдокия усмехнулась и бросила через плечо:

– Дурой была, дурой и помрёшь. –Плюнула и пошла прочь.

6.

Оглядываясь по сторонам, Алексей подошёл к кабинету Владимира Николаевича. Переминаясь с ноги на ногу, подёргал дверную ручку. Дверь неожиданно открылась.

Войдя в кабинет, он сразу заметил связку ключей, висевшую на гвозде у входа. Одним из них быстро открыл верхний ящик стола и увидел папку, ту самую, на которой было написано “Жизнь царя Павла” и сунул её под брючный ремень. В том же ящике лежала пачка больничных бланков с печатями, часть которых он распихал по карманам. Так, на всякий случай, для какого-нибудь полезного дела. Глаза санитаря натолкнулись на бронзовый бюст, стоявший на углу стола. Подумав о том, что за такой в скупке дадут хорошие деньги, схватил и тут же отдёрнул руку. “Во что бы завернуть?”. Стал шарить по кабинету глазами и вдруг его взгляд остановился на тёмной шторе, висевшей на одной из стен. Подошёл, сорвал. Под тряпицей в толстой деревянной раме оказалась картина, написанная масляными красками. В центре – мужчина средних лет в какой-то военной форме с бородой,

задумчивый взгляд, рядом с ним – светловолосая женщина с узким строгим лицом, у ног мужчины – мальчик лет двенадцати в матроске, а вокруг девушки в белом. Алексей переводил взгляд с лица мужчины на женщину, мальчика, девушек и обратно. Все они были разные, но как все они не похожи на тех людей, которых когда-то видел и помнил санитар Алексей. “Никак царь с семьёй? – подумал он. Не отрываясь Алексей смотрел на картину. И вдруг перед ним всплыло лицо Павла, когда тот... с горящими глазами, расплывшееся в злой улыбке, страшное... Мороз побежал у него по спине и он выскочил из кабинета.

Катерина открыла дверь на удивление быстро, будто стояла за дверью.

– Вот, возьми, – Алексей сунул ей в руки папку и сказал, охрипшим от волнения голосом:

– Видишь, принёс.

– Ещё бы ты мне не принёс. Давай сюда.

Она уже была готова открыть её, но что-то, видимо, помешало. Взглянув на Алексея, который всё ещё топтался на пороге, спросила:

– Чего стоишь-то? Иди. Свободен.

Но Алексей не ответил. На него опять нахлынул страх:

– А что если он меня приберёт? А что ведь он может, он и не такое может Подкараулит, как главного. Чтоб свидетелей не было. А что... может. Этот и не такое может. Бежать надо. Спасаться. – Рассуждал про себя Алексей.

А Катерина уже плескала ему в стопку из початой трёхзвёздочной бутылки с коньяком с золотыми медалями на этикетке.

– Выпей и не дрожи.

Алексей взял стакан, но пить не стал, вернул стакан Гудковой и, побледнев, со словами:

– Всё равно не поможет, – выскочил из комнаты.

– Вот дурдом-то! – крикнула вдогонку брату Гудкова. Закрыв дверь на щеколду, она торопливо подошла к столу, бросила на него папку, раскрыла её и вдруг захохотала. – Ну, так и есть! А я ведь ещё сомневалась, поверив этой старухе. Как же историю они переписывают. Вот вам и история. Мужики с бабами в позах. Придёт ко мне эта Никитична. Я покажу

ей. Пусть посмотрит.

И раскрасневшаяся она выпила из Лёшкиного стакана, налила себе ещё, ещё выпила, а потом, ухмыляясь, повадилась навзничь на не разобранный постель, что-то бормоча себе под нос, то и дело срываясь на хохот...

7.

Никитична в эту ночь так и не смогла уснуть. Её мысли перескакивали с настоящего на прошлое и обратно. Никак не могла поверить Евдокии, зная её злой язык и понять, почему Владимир Николаевич ничего не сказал ей о своей поездке в монастырь.

Когда на дворе забрезжило, в окно Никитичны постучали.

Отодвинув занавеску, Никитична увидела пьяную Гудкову.

Подошла к двери, откинула крючок.

– Что так рано? – спросила она, открывая дверь.

– На! Полюбуйся! – Гудкова сунула Никитичне знакомую

папку. – Писатель-то твой оказывается художник!

Открыв папку, Никитична некоторое время оторопело смотрела в неё, потом, вдруг быстро захлопнув, вернула Гудковой.

– Здесь какие-то гады морские.

– Нет, Никитична, это люди. Художества твоего Павла.

Гудкова ещё что-то возбуждённо говорила ей, размахивая руками, то и дело срываясь на издевательский смех, но Никитична смотрела на неё так словно её и не слышала.

Наконец Гудкова устала и, махнув рукой, пошатываясь, пошла прочь, а Никитична, тяжело вздыхая, оделась и вышла из дома.

Туман от Вынцы касался косматой прошлогодней травы. Река бурлила, по-прежнему, принимая в себя мутные потоки талого снега. Никитична прошла почти по воде, заливавшей прогнившие мостки, и уже подходила к железной дороге, когда почувствовала в ногах слабость.

Она увидела, что на станции стоит почтово-багажный поезд, около одного из вагонов мелькнуло знакомое коричневое пальто, чёрный берет, портфель. Она уже хотела закри-

чать:” Владимир Николаевич, куда же вы? «Но поняв, что её вряд ли услышат, только прошептала это.

Поезд свистнул будто на прощание, и Владимир Николаевич оглянулся. Никитична увидела лицо Павла. Одутловатое. Злое. Их глаза встретились. Павел тут же вошёл в вагон и закрыл за собой дверь.

Поезд набирал скорость. Мелькали грязные в подтёках окна, за которыми разглядеть что-нибудь было невозможно.

Проводив глазами поезд, Никитична побрела в сторону больницы...

Пройдя немного остановилась, чтобы перевести дыхание и вдруг заметила в зарослях примятого папоротника что-то тёмное, грузное. Подошвы ботинок со следами красной глины, кисть белой откинутой в сторону руки со знакомыми чётками из спрядённой ею когда-то давно пряжи, ворох скомканных листков бумаги. Никитична подошла поближе. Подняла один из них и тихо ахнула: “Это же мои, заупокойные записки.”

И тут всё вокруг замерло, и Никитична услышала вдруг тишину и удивилась. Она удивилась тому, что поле, которое ещё утром было чёрным, стало золотым. “Как подсол-

нухи?! – прошептала она. – Неужели подсолнухи?” Ещё не зная, что с ней происходит, она распрямилась и обернулась. За полем на высоком холме белела их Спасская церковь, разрушенная ещё в её детстве, старое кладбище вокруг церкви пестрело золотыми крестами. И по тропе от церкви навстречу ей шли какие-то девочки в белых кружевах и мужчина весь в белом и в фуражке с золотом. Но самым удивительным было то, что вместе с ними шёл её комиссар. Курчавый. Смуглый. Молодой. Он смотрел на Никитичну и смущённо улыбался, как тогда, первый раз, когда она его увидела. Владимир Николаевич шёл рядом с ним, перебирал чётки и смотрел на Никитичну так, будто просил за что-то прощенье... А за ними мужики, бабы, дети... Никитична увидела среди них мать, отца, мужа ... И стало ей так легко, так радостно, что она засмеялась, побежала к ним навстречу, ощущая в теле сладкую невесомость. Она заметила, что кисти её рук стали маленькими, как у девочки, а кожа на них нежной и плотной. ” Как в молодости”, – радовалась она...

А вокруг пели жаворонки и вдруг она услышала “Святой божий, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас”.

Турист

Он жалел даже рыбу, поэтому удочек с собой не брал. Только хлеб, картошку, суп в пакетике, соль, какую-нибудь крупу, заварку и, конечно, бутылочку, так четвертинку или красненького, много то он тогда не пил. Палатка, одеяло,

спальник и всё. Правда, даже это приходилось брать у брата. Своего-то у него почти ничего не было, а что и было – отняли, потерял, пропил...

Сходил с автобуса. Шёл через лес. Останавливался на холме, на краю леса, на поляне у прозрачного озорного мелководья, где русло смешно виляет, кренделя выделяет. Он здесь ещё в детстве барахтался, при родителях. Палатка. Грибы. Костёр. Небо.

Поляна была хороша. Чистая, с мягкой хвойной подстилкой, кустиками земляники, лёгкими стебельками лесных фиалок.

Уезжая, после себя – ни соринки, лишь угольки маленькой, почти незаметной кучкой.

Так отмечал дни рождения. Один. С другом. С женщиной... До тех пор, пока не уехал из наших мест...

А поляна заросла, ручей заболотился...

"Ах, ты, боже, ты мой боже, что там стало без меня" ...

Жили-были

С тех пор, как обезлюдела их деревня, утро Анны начиналось с того, что она, выходила на крыльцо и, не веря своим

глазам, вглядывалась в заросли тёрна, американского клёна, татарника и прочей нечисти, которая заполонила всю округу. Со слезами на глазах она повторяла: “А вот в этом доме, а в этом...” Иногда она выходила за калитку, делала несколько шагов вправо, влево и всё вздыхала, вздыхала, вспоминая своих соседей. Петю, Шуру, Таню, их детей, внуков...

Иногда она шла к тому месту, где ещё недавно стоял соседский дом, а теперь сквозь пепелище пробивалась трава и открывала дверь в чудом уцелевшую баню.

Сгоревший дом, построенный в гнилые годы застоя, ещё недавно радовал глаз Анны узорчатыми наличниками на окнах, не выгоревшей на солнце и ветрах краской. Баня же, построенная при царе Горохе, давно покосилась, почернела от времени.

После пожара хозяева этой усадьбы уехали, бросив собаку, которая как забилась в угол бани, испугавшись бушевавшего пламени, так там и лежала. Правда, она перетащила к себе обуглившиеся кости сгоревших в сарае коз и теперь мусолила их жёлтыми от старости зубами.

Анна жалела собаку и всегда приносила ей что-нибудь: кружок колбасы, небольшой кусок сала или хлеба. Время от времени к собаке заходил муж Анны, Леонгинас, и тоже при-

носил собаке еду.

По ночам собака выла и будила их.

– Что это она? – спрашивала тогда мужа Анна.

Но вой скоро прекращался, и они засыпали.

Однако с наступлением тёмного осеннего времени, ложившегося на землю холодными сырыми росами, вой стал раздаваться каждую ночь. Он начинался, как только гас скудный огонёк из окна.

Старость, которая в то время уже подобралась к Анне и её мужу, терзала их немилосердно. У него она выкручивала суставы, у неё вынимала нутрь, которая болела вся, не оставляя здорового места. Особенно тяжёлыми были ночи. Казалось, что все горести прошлых лет как-то незаметно вытеснили из памяти добро и радость и возвращаются в их настоящее.

Анне вновь и вновь переживала мучительную работу в торфяных болотах, Леонгинас, родина которого стала далёкой, тужил о лесах и озёрах. И только сон, короткий, прерывистый ненадолго успокаивал их. Но теперь, когда собака стала выть долго, до самого утра, они не могли даже задремать.

– Что будем делать, Лёнь (она называла его на русский манер, как звали его все в деревне)?, – нет-нет спрашивала она.

– Терпеть, – отвечал старик и шёл к соседской бане.

Там, все также вытянув тело и, положив морду на лапы, лежала собака.

Он наклонялся к ней, гладил.

Заглядывал в её мутные глаза и говорил ей что-то на родном языке, на котором ему говорить больше было не с кем. Ему казалось, что ночами она плачет о своих хозяевах, о щенках, пропадавших сразу же после родов, о своём последнем, палевом щенке, которого увезли в город дачники, жившие недалеко от колодца.

Он вспоминал, как собака бежала за машиной, и думал, что также бежала за подводой его мать, когда его подростком увозили от неё.

Однажды, проходя мимо дома дачников, на колодец, Леонгинас заметил, как незнакомая тощая баба в платке пытается пролезть в небольшое окно терраски. Рядом стоял ху-

дой мужик с узким прокуреным лицом и двое крохотных детишек.

Старик хотел закричать, уже и рот раскрыл, что, мол, по чужим домам шастаете, но подумал, как бы детишек не испугать. Подошёл ближе.

– Ты чей? – спросил он мужика.

– Ничей, я сам по себе. А ты-то кто?

– Я хозяин. Я тут живу.

Баба услышала разговор, из оконца вылезла:

– Иди дед, иди. Чего встал?

– Где живёте то? – спросил Леонгинас, – сколько годов уж здесь кручусь, а вас что-то не примечал.

– Мы в крайнем, у заброшенного склада, колхозный там у вас ещё был.

Старику сразу припомнилась эта изба почти без стёкол, дырявая, покосившаяся. Он вспомнил как когда-то давно, когда колхозная жизнь ещё теплилась в их опустевшем ны-

не селе, шёл со смены. Ради любопытства заглянул в окно и удивился пустоте помещения. Его поразило, что не было ни стола, ни стульев, ни шифоньера, ни какой-нибудь даже самой заваливающейся тряпицы на полу.

– А, ведь, ещё недавно здесь Витька жил и куда же всё подевалось? – подумал он тогда.

А сейчас только и сказал:

– Спите-то на чём?

– На полу и спим.

– А детки?

– И они с нами.

– Ну, это негоже. Идёмте я вас одарю.

И повёл к себе. Там, в сарае, развалив поленицу дров, достал старые кровати. Две маленькие, детские, когда-то крашенные белой краской и одну большую с блестящими никелированными набалдашниками.

– Вот и сетки к ним сохранил. Забирайте.

А сам полез на чердак, где были аккуратно сложены и матрасы, и одеяла, и завёрнутая в старые простыни кое-какая лишняя в доме посуда, включая связанные полотенцами алюминиевые вилки, ложки, ножи. Отделив часть этого богатства, он крикнул:

– Эй, мужик, лезь сюда. Забирай.

Так они и познакомились. Бомжи с проходящего поезда и старики.

Однако, говоря о последних, старики никогда не называли их словом “бомжи”, которое почему-то им не нравилось, а именовали “приезжими”.

– Ты, Лёнь, приезжих то пригласи, – говорила иногда старуха, – я сегодня щей наварила, всем хватит.

Приезжие приходили, радовались еде, людям, их теплу и радушию.

Нет, нет старики рассказывали им о собаке, которая воеет по ночам так, что выдержать это просто не в моготу.

– Дак прибить её надо, или повесить, – советовал тогда

мужик, – Хошь подмогну?

– Да, ладно тебе, – перебивала его женщина, толкая локтём, – чего зря болтаешь.

Старики же сразу замолкали и переводили разговор на что-нибудь другое, но иногда, переглянувшись, начинали, как бы мысленно соглашаться с неизбежностью такого поступка.

Дождавшись, когда приезжие уходили, один из них, спрашивал другого:

– Ты что ж собаку извести хочешь?

И слышал испуганный ответ:

– Да что ты. С чего взял? По себе судишь?

И, будто извиняясь перед собакой за что-то, что мелькнуло между ними, начинали собирать со стола остатки еды, спешить к соседской бане, чтобы там, глядя в собачьи глаза или упрашивать её, чтоб ушла куда-нибудь от греха по добру по здорову, или рассказывать о своём прошлом или настоящем.

К собаке ходили поодиночке и рассказывали ей о разном, но часто об одном и том же, о том подневольном, что соединило их в далёком прошлом или о том тягучем, что изнуряло их в настоящем. Собака сначала смотрела в сторону рассказчика и, казалось, прислушивалась к его словам, а потом отворачивалась или опускала голову и погружалась во что-то своё, неведомое людям.

Но наступала ночь, и собака начинала выть. С каждой ночью всё сильнее и надрывнее. Старикам не помогали подушки, которыми они накрывали головы, не старые ватные одеяла, которые накидывали поверх. То один из них, то другой вставали, вглядывались в темноту, зажимали ладонями уши.

И вот наступила ночь, оглушившая стариков беззвучием.

Ещё днём Леонгинас, взяв кусок копчёного сала, накинув старый брезентовый плащ, пошёл к собаке.

От мелкого осеннего дождя глиняная дорога совсем раскисла. Старик шёл и выбирал травяные островки, осторожно ступал на них, боясь поскользнуться и упасть. Войдя в баню, как всегда, сел около собаки на полусгнившую лавку, протянул сало. Та же, словно не желая смотреть на него, сначала отвела взгляд, будто замутившийся чем-то белесым, по-

том повернула голову, посмотрела на старика и с трудом подползла к нему. Уткнулась в колени. Когда старик, как обычно, протянул руку, чтобы погладить поседевшую спину, собака слабо заскулила, будто хотела сказать что-то или попросить прощения.

И тут старик понял, что этой ночью собака умрёт.

Он посмотрел на кусок сала, убрал его в карман и вышел.

На крыльце его ждала жена. По тому, как он шёл, сгорбившись и наклонив вперёд голову, Анна всё поняла. Она обняла мужа, прижалась к нему, как когда-то в молодости. От неожиданности Леонгинас вздрогнул и отпрянул, испугавшись жаркого желания, вдруг проснувшегося в нем. Ему захотелось сказать жене о своей любви к ней и попросить прощения за эту печаль, разлившуюся по степи, за свою и её старость, за жизнь, что прошла.

Но вдруг он почувствовал, что Анна отстранилась и внимательно смотрит на него, услышал её тихий голос:

– Лёнь, надо бы приезжим что-нибудь отнести.

Старик, кряхтя, полез в подполье. Доставал банки, ставил их на пол, а старуха стояла рядом, закусив конец платка, и

повторяла:

– Деток-то их особенно жалко.

Солнце и Луна

Анна Сергеевна сидела на диване, почти вплотную придвинутом к столу. Диван, прокрустово ложе советской эпохи, и обширный дореволюционный дубовый стол с львиными мордами на массивных ногах, также, как и другие вещи, перевезённые с Ришельевской на улицу Павла Шклярука, соседствовали вполне успешно, создавая образ нереального, почти запредельного. Людям посторонним, так сказать, зашедшим с улицы, например, врачу районной поликлиники, эта комната казалась странной. Заходя к Анне Сергеевне, он, как ни старался, не мог сосредоточиться на болячках пожилой дамы, и, с трудом отрывая свой взгляд от антикварной мебели и картин, прописывал ей очередные припарки.

Припарки Анну Сергеевну не волновали, когда сын приносил очередную партию лекарств, отодвигала их на противоположный край стола и недовольно ворчала про себя: “Вот ещё, травиться-то”. Сын молчал, предоставляя решение вопроса матери, а невестка раздражённо пожимала плечами и убирала губы, сожалея о потраченных деньгах. Такую же степень недовольства она выказывала, когда Анна Сергеевна

просила её погреть суп погорячее, потому что тот, который она приносила и ставила на стол рядом с телефоном, “есть было невозможно”. Правда, невестка просьбу свекрови всегда выполняла без оговорок и после того, как в очередной раз ставила на стол тарелку, беззвучно закрывала дверь с другой стороны.

Анна Сергеевна ела тихо, едва касаясь ложкой тарелки, не шамкала, не икала, стараясь соблюдать приличия, как во времена бабушки. Образ бабушки, маленькой, хрупкой с аккуратными завитками седых волос и лёгкой полуулыбкой на губах, запечатлелся так прочно, что обычно принуждал совершать поступки в соответствии с традициями воспитания. Но сегодня Анна Сергеевна решила поступить вопреки всему и, когда ей позвонила Галина, подруга по очень и очень далёкому прошлому, ответила жёстко:

– Нет, и не надейся! – и тут же, положив трубку, придвинула к себе металлическую коробку из-под печенья с изображением Спасской башни и Храма Василия Блаженного таким жестом, будто хотела эту коробку ото всех спрятать.

Когда Галина позвонила первый раз, Анна Сергеевна удивилась, как та узнала её новый телефонный номер и вообще зачем она звонит. Сначала их разговор казался вполне безобидным. Галина рассказывала о себе, о том, что живёт всё

там же, что так и прожила всю жизнь одна, что давно на пенсии, что всё хорошо, что к ней раз в неделю приходят из собеса, что ноги давно уже не ходят. А потом резко потребовала вернуть то, что Анна Сергеевна якобы присвоила себе... лет шестьдесят назад...

В тот же вечер Анна Сергеевна попросила сына достать с антресолей коробку, где хранила старые фотографии. Несколько дней она перебирала их, рассматривала, вздыхала и плакала. А потом велела убрать, оставив на столе лишь металлическую коробку из-под печенья.

“Неужели Галина не уgomонится и опять позвонит?” – размышляла Анна Сергеевна, и ей представлялось то далёкое утро, когда весь их город жил в ощущении приближающегося счастья. Из распахнутых окон – музыка, на домах – красные флаги. Белые тужурки, белые банты, светлые летящие платья. Сквозь сон Аня слышала, как подходила к её кровати мать, развешивала и расправляла отутюженную одежду, потом, с закрытыми глазами Аня повторяла про себя слова, написанные старшей пионервожатой на листке, вырванном из тетради...

Ещё с весны началась подготовка к торжественному мероприятию. Директора школ, соревнуясь друг с другом, предлагали то одну кандидатуру, то другую, руководители

кружков художественной самодеятельности всех районов города, сошлись на мнении, что овал лица у девочки, произносящий приветственные слова, должен быть округлым, волосы – русыми, а глаза, желательно, голубыми, но, и это самое главное, ясный, звонкий и трогательный голосок. В нём должна звучать искренность, любовь ко всем людям на планете и благодарность за счастливое детство. Спорили долго. Точку над *i* поставил известный в городе артист, знакомый в юности с самим Станиславским. Придерживая обеими руками ногу, возложенную на колено, поглядывая из-под Мефистофелевских бровей, он вынес вердикт: “Читать будет Аня!” И на вопрос одного из директоров ответил резко: “А потому!”

И вот Анечка, в отпаренном, наглаженном, с трепетом в сердце и с зажатым во влажной ладошке тетрадным листом, пробегает мимо Дюка на самую распоследнюю репетицию.

В полупустом зале, с приспущенными от яркого южного солнца шторами, несколько важных городских персон. За кулисами – уже принаряженные участники будущей встречи: хор, танцевальная группа и Анечка. Девочка уверенно выходит на знакомую сцену, подходит к рампе и слышит свой слабый хрип вместо звонкого приветствия, она повторяет заученные слова снова и снова, но голос не слушается её. В растерянности стоит она на сцене, не зная, что же ей делать

дальше. Известный артист с протянутыми в ужасе руками бежит к сцене, старшая пионервожатая спешит со стаканом воды. Ситуацию спасает преподавательница кружка художественного слова. Она выходит в фойе и почти тут же входит обратно, пропуская перед собой девочку в таких же, как у Ани, белых воздушных бантах.

Поднявшись на сцену, девочка читает приветствие звонким радостным голосом. Но Аня, как это ни кажется странным, не плачет. Вместе с другими детьми, под звуки горна и барабанной дробы она вышагивает по улицам города, спускается к порту. Здесь на трибунах уже сидят дети, взрослые, старики. Главная же трибуна ещё пуста. И вот со стороны моря доносится гудок. Кто-то соскакивает с места, кто-то тянет шею, чтобы увидеть белоснежный корабль, разворачивающийся в марше! И почти одновременно с гудком на трибуну поднимаются самые важные люди страны. Один из них знакомым всем жестом одной рукой снимает шляпу и, вытирая другой блестящую голову, машет шляпой, салютуя небу, морю, городу и всем, и каждому! Звучит наш гимн, потом другой, незнакомый. Медленно плывут по небу клетки со слонятами, Солнце и Луна, и толпы людей приветствуют их, посланцев далёкой Индии, а Галя, стоя на трибуне рядом с самыми-самыми, звонким голосом благодарит за подарок и шлёт привет далёким друзьям. Чайки подхватывают слова, и они летят через море, океан к далёким берегам Бхарата.

Так Галя прославилась на весь Советский Союз. Груды писем приходили ей из многих стран мира. Девочка не успевала прочитать одни, как получала другие. Аня, вместе с которой Галя занималась в кружке художественного слова, помогала подруге разбирать почту. Как-то Аня заметила открытку с изображением белого корабля, точно такого же, в котором приплыли слонята. На обороте стихи, напечатанные на пишущей машинке:

Вот из Индии плывёт

К нам по морю пароход...

Под ними подпись – “Дмитрий Львович, Москва”.

Аня не знала, что так привлекло её внимание: то ли бело-снежный корабль, то ли стихи, то ли имя отчество а, может быть, то, что письмо прибыло из столицы...

– Галя, смотри какая открытка. Тебе из Москвы пишут.

– Подумаешь, – ответила Галя, едва повернув голову в сторону Ани, – мне и из Дели пишут.

– А, может, ты этому Дмитрию Львовичу ответишь, взрос-

лый всё-таки.

– Аня, ты что! Посмотри сколько у меня писем и открыток...

– А можно я за тебя отвечу? – спросила Аня.

– Ой, да пиши, конечно, если хочешь.

Так началась переписка Ани с Дмитрием Львовичем. От имени Гали... Странная эта была переписка и очень долгая. Она ему посылала подробные письма об учёбе, своей жизни, о том, что младший брат ужасный озорник, о первой любви и даже о том, что остригла косы... Он же отвечал открытками то с видами Москвы, то с репродукциями художников, то с шуточными сюжетами. Изображения на картинках всегда соответствовали тому, о чём писала Аня, и тем стихам, которыми он отвечал ей. На некоторых открытках он подрисовывал что-нибудь забавное: разбитое братцем оконное стекло, тщедушного воздыхателя в рваном ботинке и с букетом цветов, нарядную девицу с открытой книжкой, из которой выползают, словно тараканы, кавалеры...

Однако, с некоторых пор открытки приходиться перестали. А как-то пришло письмо, в котором вдова Дмитрия Львовича спрашивала, не прислать ли Ане её письма. Аня ответила

утвердительно, но письма так и не пришли...

И вот теперь этот звонок от Гали. Её требовательный, решительный голос:

– Верни мне мои открытки!

Анна Сергеевна сначала не поняла:

– Какие?

– Ну, те, от того мужчины из Москвы, с которым ты переписывалась. Надеюсь, ты их сохранила?

Да, Анна Сергеевна не только сохранила открытки, но даже помнила некоторые стихи:

Была у девушки коса,

Ее коса,

Ее краса...

Перебирая открытки, она вспоминала детство, отрочество, юность, свои письма, наивные, глупые, с ошибками и помарками.

Нет, отдать открытки Дмитрия Львовича она не могла. В них жило её я, её жизнь, её утешение. Но Галя требовала, настаивала...

Припоминая Галю, Анна Сергеевна представляла сначала девочку с пышными бантами, потом девочку с рано развившейся грудью, нос уточкой, странная походка с опущенной вниз головой, будто она хотела кого-то забодать и голос со временем сильно изменившийся, потерявший звонкость.

Анна Сергеевна подумала, что если бы они встретились сейчас, то, наверно, не узнали бы друг друга. Потом она вспомнила, что Галина мама рано умерла, и Галя долго жила в одной квартире с отчимом, которого с трудом терпела. “Что же у неё с ногами, неужели, как у меня, коксартроз, а, может, что-то с тазобедренным? Надо спросить, если позвонит”. Но тут же подумала, что лучше бы не звонила, потому что опять заведёт разговор об открытках...

Мысли Анны Сергеевны прыгали с одной на другую. Оторвав взгляд от открыток, посмотрела на бабушкин туалетный столик, стоявший напротив, и ей померещилось, что в его зеркале мелькнуло бабушкино лицо.

“Как всё-таки жаль Галю, всю жизнь одна... Надо ей по-

звонить...”

А чуть позже, не прошло и пяти минут, позвала сына:

– У меня к тебе просьба: отвези, эту коробку моей подруге на Ришельевскую. Адрес – вот тут на этой записке. Только не тяни. Если сможешь, завтра. Спасибо. Нет, форточку не закрывай, душно. Как же тут у вас душно...

Васенька

Моя жизнь началась с того самого момента, когда Златовласка прижала меня к себе. Я почувствовал, как стучит её сердце, и тут же забилося моё. Можно даже сказать, что у нас долгие годы было общее сердце или душа. Чем уж я так приглянулся златокудрой красавице судить не берусь.

Внешность у меня была самая обычная. Круглое лицо, чуть вздёрнутый нос, голубоватые глаза. Носил я тогда незамысловатую рубашку в мелкую клетку и короткие штанишки, доходящие до колен.

Много времени мы проводили с ней вместе. Ни с кем она не была так близка как со мной, и чтобы не делала, я был рядом.

Помню, как однажды ночью, когда страшная гроза пе-

реположила всё небо, она взяла меня к себе в постель и, прикрывая глаза ладошкой, защищала от всполохов молний. Помню, как сидя в своём уголке около изразцовой печи с начищенной до блеска металлической решёткой поддувала, мы поджидали маленького мышонка, которого подкармливали крошками, запрятанными в мой карман, или дрожали, прижавшись друг к другу, если в дом приходила беда.

Но я чувствовал, что с каждым годом моя стареющая плоть становилась всё более и более уязвимой. Удивляюсь, как она не замечала этого. Изю дня в день я оттягивал день моего ухода, боясь причинить ей огорчение. Ведь только я мог утешить её в горькие минуты обид и невзгод. И всё же, улучив благоприятный момент её увлечения новыми красками, решился. Теперь я мог только издали наблюдать за ней, из своей больнички, где мне предстояло поменять не только рубашку, но и кожу, глаза, волосы...

Помню, как наконец-то, в день рождения моей златокудрой красавицы, помолодевший, наряженный в новую бархатную жилетку и такие же бархатные штаны, зажав в руке цветы, я долго стоял у дверей ожидая её пробуждения. Я волновался. Когда же она пробежала босиком через комнату и, не обратив внимания на цветы, мой посвежевший вид и новый костюм, пылко обняла меня и прижала к себе, я почувствовал, как защемило сердце и, кажется, ещё бы чуть-чуть и моя

новая жилетка намокла от слёз.

С этого дня мы опять долго не расставались. Но я заметил, что всё больше и больше времени она стала проводить за столом, рисуя что-то в альбоме, листая книжки. Правда, по-прежнему, я был рядом с ней, но чувствовал, что её сердце уже стучит отдельно от моего, а душа витает там, куда не могла пробиться моя.

Прошло ещё несколько лет и случилось то, что и должно было случиться...

Теперь я мог лишь украдкой, через щёлку, глядеть на её сосредоточенное личико, склонившееся над столом. Иногда, видя рядом с ней каких-то незнакомых людей, мной овладевало волнение: не обидят ли они её.

Однажды, одетая в своё любимое серое платье с бордовыми пуговицами, она, стоя у зеркала расчёсывала волосы, которые красивыми волнами спускались на плечи. Когда же раздался звонок и в комнату вошёл юнец, которого мне доводилось замечать среди её гостей и раньше, и она прильнула к нему, как некогда ко мне, я понял, что теперь могу быть спокоен.

Увы, настал день, когда, как бы я не пытался высмотреть

из своего заточения Златовласку, как не вглядывался в силуэты её родственников, продолжавших обитать в той же самой комнате, где некогда мы были с ней неразлучны, мне так и не удалось увидеть её. Теперь я лежал целыми днями, глядя куда-то в темноту. Мои глаза были пусты. Сердце почти не билось.

Лишь однажды, на короткий миг я ожил. Какая-то пожилая женщина, в которой я скорее почувствовал, чем узнал Златовласку, открыла шкаф и стала перебирать вещи, пожелтевшие от времени фотографии, какие-то бумаги и вдруг, вскрикнув, схватила меня и, прижимая к себе дрожащими руками, зашептала: “Васенька мой, Васенька!”.

Одинокая звезда

Шёл дождь. Ноги разъезжались, вязли в глине. Таня смотрела вниз, но не видела ни тропинки, ни узконосых сапожек, которые оставляли за собой какие-то скособооченные, разлапистые следы.

Ещё несколько дней назад они с Тамарой, возвращаясь из Училища, отыскивали чистые островки снега и аккуратно ставили на них ноги, пропечатывая орнаменты подошв.

Отпечатки ложились красивыми картинками, и девочки любовались ими. Вдруг Тане показалось, что Тамарин узор более ровный, и тогда она, желая отвлечь и себя, и подругу

от этого невыгодного сравнения вдруг сказала:

– Ты сегодня хорошо танцевала. Особенно тебе удалось адажио.

– Теперь это уже неважно. Вряд ли меня оставят после моих задышек. А ты прошла диспансеризацию?

– Пока ещё нет. Но у меня, кажется, всё в порядке.

Таня, и правда, была физически сильной, танцевала легко, почти не уставала. Её рослая худощавая фигура с длинными, уверенными в себе ногами, свободно делала все необходимые танцевальные движения, а партнёры не могли нарадоваться, когда им выпадало танцевать с ней. Они удивлялись невесомости Тани и прозвали её пёрышком.

Но под дождём “пёрышко” намокло и не порхало, а с трудом переставляло ноги, которые скользили, подкашивались и вдруг, оступившись, правая нога подвернулась и, если бы не Тамара, которая поддерживала подругу за руку, наверно бы упала. Они медленно шли к выходу кладбища, где несколько минут назад похоронили отца Тани. Мама шла впереди, её одежда, обувь и даже тёмный платок после того как она с истошными криками прыгнула в могилу, куда только что опустили гроб, были испачканы глиной. В ушах

Тани застыл её крик:

– И меня, и меня закопайте вместе с ним.

Она слышала, что мама повторяла ещё какие-то слова, за что-то ругала отца, но смысл этих слов ушёл от неё вместе с плотным занавесом дождя, который навсегда отделил её от мамы.

С этого дня она стала сторониться мамы, ей было стыдно, что та так странно вела себя на кладбище. Потом, на поминках, мама подошла к приятелю отца, села рядом и, показывая ему фотографию какой-то женщины, долго шепталась с ним и плакала. Но если бы только это... Как только они с мамой остались вдвоём, мама протянула Тане фотографию и сказала:

– Вот, полюбуйся. Папочка твой любимый. Нашла в его старом портмоне. Смотри, какая затёртая. Неужели всю жизнь меня обманывал? Теперь-то ты видишь, каков он.

Но Таня не видела, потому что, прикрыв глаза, вспомнила, как однажды папа рассказывал ей о какой-то Вере, которую любил в молодости и еще, потому что сильно болела нога, которую она подвернула на кладбище.

Нога болела и на следующий день, и ещё через день. Щиколотка опухла, посинела. Речи о том, чтобы идти в Училище не было. Теперь Таня все дни проводила на кушетке, иногда к ней заходила зарёванная Тамара, которую врачи не допускали до занятий в Училище, найдя неполадки с лёгкими. Пока Тамара рассказывала о своих хождениях по врачам, Таня, взяв лист бумаги и карандаш, рисовала её то в профиль, то в анфас и находила, что подруга была бы очень хороша собой, если бы не нос. Но, не желая расстраивать подругу, смягчала абрис, добавляла лёгкие тени, и получалось, что Тамара очень и очень хороша.

До зимней сессии подруг не допустили и в начале каникул около деканата вывесили объявление об их отчислении. Правда, они этого объявления не видели, так как решили, что ноги их там больше не будет. Но идти всё-таки пришлось... за документами.

Подбадривая друг друга, они решили, что жизнь кончается не завтра, а поэтому усиленно готовились к поступлению в институт, стараясь не терзаться по поводу несостоявшихся балетных карьер. Конечно, они хотели бы учиться в одном вузе, но Таня возмечтала стать художницей.

У неё действительно были неплохие способности. Она даже успела поучиться на подготовительных курсах в Суриков-

ском училище, но однажды, когда Таня уже заканчивала домашнее задание, сзади подошла мама. У Таниной мамы, ещё со времён обучения дочери в начальной школе, была очень неприятная привычка: подойти почти беззвучно, заглянуть через плечо, а потом закричать, если буквы были написаны недостаточно каллиграфически, даже затопать ногами.

А потому, едва заслышав насторожённым ухом шаги, Таня вздрогнула, выронила карандаш.

– Нет, это не специальность, – безапелляционно заявила мама, – художники – пьяницы, развратники, сидят без гроша в кармане. Не допущу! Будешь учиться на инженера!

Таня вздохнула, наклонилась за карандашом, который закатился под стол.

И, успешно сдав экзамены, стала учиться в Текстильном, на механико-технологическом, вместе с Тamarой.

Вместе с Тamarой бегала по выставкам, ходила в театр, чаще всего на балеты, в походы, предпочитая байдарочные, ездила на море. Была она стройной, гибкой, привлекательной и улыбчивой.

После того как Тамара вышла замуж и родила дочку, ча-

сто приезжала к ней в гости, любовно поглядывала на круглые детские щёчки и продолжала летать, витать в облаках, любить весь белый свет, стараясь, однако, как можно реже бывать дома.

Однажды мама сказала:

– Тебе не кажется, дорогая, что ты засиделась в девках?

И Таня вышла замуж, хотя ей было очень даже в терпёж и без мужа.

Её муж грушами не объедался, не болтался без дела, был очень даже ничего: любил свою работу, защитил диссертацию, умел починить, приколотить и даже на фортепиано иногда баловался, шутливо подыгрывая одним пальцем супруге, которая нет-нет да присаживалась перед инструментом на вертящийся стул. Таня, по-прежнему, любила театр, особенно Стасик, выставки и свою подругу Тамару.

Но однажды мама сказала:

– После сорока не рожают, а тебе, кажется, уже за тридцать. И посмотрела на Таню будто в лорнет, приблизив последний почти вплоты к животу дочери.

И Таня родила мальчика.

Ей принесли его, завёрнутого в белые больничные пелёнки, в которых краснело старческое сморщенное личико с опухшими сизыми веками. Когда же миленькая молоденькая сестричка пропела:

– К груди, мамочка, прикладывайте, к груди!

и Таня приложила, и из неё полилось молоко, и из правой груди, и из левой, и по рубашке, и вниз по животу и полилось что-то ещё, уже в самом низу живота, из него, она не выдержала, положила ребёнка на кровать и бросилась в коридор. Спазм, схвативший горло, перешёл в рвоту. Затыкая рукой рот, добежала до умывальника.

– Мне плохо, плохо, – прошептала она и упала на холодный, пахнувший хлоркой пол.

Когда принесли ребёнка в следующий раз, и сестричка опять завела своё:

– К груди, мамочка, к груди.

Таня, вытянув вперёд руки и указывая ладонями, на ребёнка, сказала:

– Отдайте его отцу!

Но и этого ей казалось мало и при выписке из роддома, указав мужу таким же жестом на ребёнка, выкрикнула:

– Возьмите вашего сына, сэр!

– Таня! Что с тобой? Возьми себя в руки! – испугано вскрикнула мама, а муж взял ребёнка любовно, нежно, приподнял кружевной уголок, удивился круглым большим глазам, которые насторожённо рассматривали его. Петру было за сорок, и это был его первый ребёнок. Он уже знал, что с Таней происходит что-то не то, и готовился к чему-то, чего ещё не знал.

– Ах, мама, оставьте! – сказала Таня холодно и отстранённо, – Идите домой. Мы сами разберёмся.

Но разобраться самим оказалось не под силу. Таня, придя домой, сразу же ушла в свою комнату, повернула собачку на дверной ручке, упала лицом в подушки и пролежала так день и ещё день, и ночь. Пётр нервничал, пеленал, бегал за сухой смесью, разводил её водой, кормил, опять нервничал, стучал в комнату Тани. Таня не отвечала. Вышла на третий день в той же одежде, в какой пришла из роддома. Её лицо, распух-

шее, красное, злое испугало Петра. Он пытался заговорить с ней, показывал на кроватку, предлагал что-нибудь съесть, попить чая. Но ребёнок заплакал, и Таня закричала, зажала руками голову, схватила сумку, накинула пальто и выбежала из квартиры. Почти у порога столкнулась с Тамарой, оттолкнула её, побежала вниз по лестнице. Тамара за ней:

– Таня, Танечка, что ты, подожди.

Бежали по улице. Вдруг резкая боль в ноге, той самой, которую подвернула когда-то на кладбище, когда хоронили отца. Остановилась. Повернула к Тамаре лицо:

– Отстань, отстаньте все. Не хочу. Не нужен он мне, не нужен, понимаешь, не хочу.

– Таня, – как всегда спокойно и рассудительно, только веко дрожало, говорила Тамара, – Петру на работу нужно. Хочешь, я мальчика к себе буду брать на день, а после работы его Пётр забирать будет, – взяла подругу за руку, крепко сжала.

– Не хочу, не хочу, я ничего не хочу, я жить не хочу, – повторяла как безумная Таня.

– Ну, хочешь, к маме его твоей отнесём? – говорила Та-

мара.

– Только не к ней, из-за неё всё, хотя, отдай, отдай, пусть, игрушка у неё будет.

Таня хотела вырваться, убежать, но Тамара держала крепко, ей удалось довести подругу домой, раздеть, умыть, напоить чаем.

Так с тех пор и повелось. Утром Пётр отвозил ребёнка к Тамаре, вечером забирал его. Таня весь день проводила в постели, не раздвигая ночных штор, ничего не ела, только пила. Если ночью ребёнок плакал, уходила на улицу, на детскую площадку, где садилась на качели, слабо раскачивалась и как-то про себя выла.

Однажды днём, когда Таня была дома одна, в дверь позвонили. Увидев в глазок маму, она испугалась, побежала в комнату, забилась в угол платяного шкафа и долго сидела там, вздрагивая и затыкая уши при каждом повторном звонке. Она продолжала сидеть там и вечером, когда пришёл Пётр и привёл с собой за руку подросшего сына. Теперь ребёнок днём не гостил у Тамары, а ходил, как и другие, в детский сад. Забавный лепет, розовые щёки и льняные волосы малыша не воодушевляли Таню и она, по-прежнему, запиралась в своей комнате, когда муж приходил с сыном домой. Правда,

когда сын болел и в её комнату доносился сухой, опасный для жизни ребёнка кашель, она прикладывала ухо к двери и прислушивалась.

В тот вечер, уложив сына, Пётр долго и терпеливо просил Таню открыть дверь:

– Таня, – шептал он, боясь повысить голос, чтобы не разбудить мальчика, – Таня, открой, я должен сказать тебе что-то важное.

Но за дверью была такая немая тишина, что, испугавшись того страшного, что два года маячило перед ним, Пётр, судорожно схватив ручку двери, рванул её на себя, вырвал с корнем и остолбенел: комната была пуста. Но окно, которого он так боялся, было закрыто. Ах, да – шкаф. Ну, конечно, как он мог забыть, шкаф. Дёрнул створку. Откинул висевшую на плечиках одежду. В самом углу, прижимая к себе балетную пачку, в которой она танцевала когда-то в училище, сидела Таня. Красное лицо, опухшие глаза.

– Танюша, – прошептал Пётр, протягивая к ней руки, пытаясь вытащить её из шкафа. Он ещё не знал, что Таня уже давно знала, чувствовала, что в жизни мужа наступила какая-то новая, ещё неизвестная ей жизнь. Весь какой-то посеревший, растрёпанные патлатые волосы, брюки мешком,

несвежая без трёх верхних пуговиц рубашка.

Она вспомнила каким он был раньше, в тот вечер, когда они познакомились у Тамары на встрече Нового года. Чуть разгорячённое лицо, лёгкий румянец, откиннутые назад тёмные волосы, белая отутюженная рубашка. Тогда Пётр подошёл к ней и, протягивая оторванную от рубашки пуговицу, которую крутил весь вечер, смущённо глядя на неё, сказал:

– Вот, оторвалась.

И Таня засуетилась, сняла с комода шкатулку, ту, голубую, которую она ещё в десятом классе подарила подруге на день рождения, достала иголку, нитку и, подошла к Петру, который, приподнимая рукой галстук, стоял не шевелясь, показывая глазами, куда пришивать. Не умело, всё время поправляя нитку пальцами, Таня осторожно продевала иголку в крошечное отверстие и боялась уколоть Петра.

– Ну, что пришила? – услышала она тогда за спиной весёлый голос Тамары. – Хорошо. Твоя мама довольна будет.

– А при чём тут мама? – почему-то испугано спросила Таня, ещё глубже забиваясь в шкаф.

– Я ничего не говорил про маму, – торопливо ответил

Пётр.

– Умерла, умерла? – неистово закричала Таня, выскакивая из шкафа. – Когда? Отвечай, когда.

И были похороны, и ноги разъезжались по мокрой глине, и плакала Тамара, прижимая к себе Таниного сына. И Пётр, крепко обхватив Таню руками, держал её так крепко, что у него сводило пальцы. А Таня кричала, билась и ей казалось, что шнур внутри живота напрягся и тянет туда, где была мама.

Возвращаясь с кладбища, Тамара, обнимая Таниного сына, вышла из похоронного автобуса около своего дома и, удерживая ребёнка за руку, повела к себе.

Пётр несколько дней не ходил на работу. Боялся выйти в магазин и даже старался не оставлять Таню одну хотя бы на несколько минут, так как полагал, что она способна на всё. Он очень устал от своей жизни. Его измученный и неряшливый вид удивлял даже незнакомых людей. Часто в метро он ловил на себе сочувствующий, недоумённый взгляд, и, стыдясь себя, старался не отрывать взгляд от какой-нибудь удалённой точки на потолке вагона. Пётр был вымотан Таниной депрессией, которая, как он полагал, останется с ними на всю жизнь, смертью и похоронами тёщи, безденежьем, постоян-

ными угрозами сокращения, работой, которую приходилось брать на дом и доделывать ночами, капризами сына, которого Тамара теперь редко оставляла у себя на ночь, ссылаясь на то, что он мешает спать её дочке и та из-за него спит на уроках, отстаёт в учёбе. Пока была жива тёща, она, хоть иногда, забирала внука к себе... Теперь же...

Теперь же Таня, после того как он укладывал сына, стала иногда выходить из своей комнаты. А однажды подойдя к нему, глядя на рубашку без пуговиц, спросила:

– А где пуговицы?

– Потерял, наверно, – неестественно сухим, сдавленным от неожиданности голосом, ответил Пётр, – я найду. Ты пришьёшь?

– Пришью, – ответила Таня и заплакала. Заплакал и сын в соседней комнате. Подняв на мужа глаза, Таня медленно пошла к ребёнку.

Соловецкий триптих

Анастасия

Трудно сказать почему Анастасии в начале двухтысячных позволили поселиться на Секирке, то ли послушание ей такое дали, то ли умалила батюшку или самого митрополита. Ровно год, от осени до осени, прожила она здесь длинную северную зиму и короткое белое лето. Исправно каждый день по лесной дороге добиралась до монастыря, где молилась спокойно, без исступления. Потом в посёлке заходила в местный магазин, покупала ровно столько, сколько птица в клюве могла унести, и возвращалась в крошечную постройку при Свято-Вознесенском Храме, в котором в ту пору богослужения проходили только в престольные праздники.

Худая, невысокого роста, узколицая и белокожая, в длинной юбке и светлом платке, она ничем не выделялась среди паломниц, которых уже и тогда на Соловках было предостаточно. Однако между ними и Анастасией никто не замечал какого-либо сближения и даже, когда работали на небольшом картофельном поле, расположенном справа от дороги к Храму, держались поодаль друг от друга.

Анастасии казалось, что многие, приехавшие на остров за молитвенной помощью женщины, будто бы напоказ бьют поклоны, излишне придиричивы к приезжим и особенно экс-

курсантам. Паломницы, в свою очередь, сходились во мнении, что Анастасия слишком суха и ничем не выказывает молитвенного рвения, под благословение идёт без должного трепета и поглядывали на неё искоса. Один случай и вовсе на час-другой развёл их.

Как известно, купание в Святом озере рядом с монастырём не благословляется. Однако экскурсанты и экскурсантки, эдакое бесовское отродье, то ли по незнанию, то ли от жары и усталости, едва сойдя с дороги, что от Секирки, бросались к воде. Нет, не нагишом, в купальниках. Но какой же это соблазн для монахов! Тьфу, срамota! Вот и задумали паломницы отучить купальщиков от этой гнусности. Набили бутылок, затолкали их в мелкую заводь, что среди зарослей прибрежных трав тёплым песочком вдавалась в озеро и, спрятавшись за кустами, стали наблюдать.

Однако экскурсанты задерживались. Вместо них вышла из леса Анастасия. Привычным широким шагом дошла до озера, расшнуровала кроссовки и уже готовилась к тому, чтобы босиком зайти в воду и ополоснуть разгорячённое лицо, как вдруг заметила блеснувшие в воде стайки окуньков. Скинув обувь, прошла по траве, ступила на влажный песок и ахнула: перед ней остриями вверх торчали битые бутылки. Вытаскивая их из вязкого дна, поранила руки, и кровь, растворяясь в воде, размытым узором поплыла по озеру. Сло-

жила осколки в матерчатую сумку, сняла с головы платок и, перевязав им ту руку, где кровь вытекала струйкой, медленно пошла к воротам монастыря.

На службу без платка на голове зайти не посмела. Смирно стояла на паперти. Проходившие паломницы зыркали в её сторону. Лишь несколько сочувственных взглядов задержалось на раненой руке. По окончании службы Анастасия не зашла как обычно в магазин, а отправилась в больницу. Но по дороге подумала, что приём, наверно, закончился и, повернула в сторону к дому.

В это же время от ворот монастыря на Секирную гору по расписанию отправлялся списанный с материка автобус с паломницами. Набившись в “пазик”, бывший когда-то бело-голубым, женщины изнывали от жары, ожидая водителя. Вот, наконец, он прошествовал к кабине, включил зажигание, раз, другой, третий... Увы, автобус даже не чихнул в ответ. “Свечи, – подумал водитель, – свечи” и, обратившись к исстрадавшимся женщинам, подтвердил: “Поездка отменяется. Свечи...”

Покорно, вслед бодро шагающей Анастасии, пошли по дороге. Кто-то напевал что-то церковное, кто-то молча молился. Сначала держались кучкой, потом растянулись так, что передние, оглядываясь назад, за поворотом не видели

последних. Выступал пот, комары липли к лицу, к оголённым рукам... Дышали с натугой. После подъёма в гору, слушая стук в голове и сердце, в изнеможении садились на что придётся: на траву, камень, пенёк... Некоторые добрались до скамейки около храма.

Когда же из пристройки с ведром воды вышла Анастасия, встали и, расправляя ноги, потащились к ней. Не глядя на её руку, перевязанную платком со следами крови, подставляли сложенные черпаком ладони и медленными глотками втягивали в себя воду.

Немец, перец...

Бернхарда – круглая седеющая голова, серая ветровка, джинсы-встречала в аэропорту дёрганная девица. Стояла у выхода с табличкой с крупными немецкими буквами и раздражённо крутила головой. Он уже готовился заключить знакомку в объятия, но, натолкнувшись на её напряжённый взгляд, лишь поздоровался: “Guten Tag”. Девица утвердительно кивнула головой и, смерив Бернхарда взглядом, указала жестом, чтобы он следовал вперёд. “Знает ли она немецкий?” – мелькнула мысль и тут же уступила место другой: “Какие они тут?”. Вглядывался в мелькающие за окном чудосочные деревья с облезающей корой, надвигающиеся и исчезающие постройки, дома. Ему хотелось сидеть рядом с шофёром, но девица, не церемонясь, почти втокнула его в заднюю дверь, ещё и цыкнула. В дороге молчали. В пове-

дении сопровождающей Бернхарду чудилась враждебность. “Неужели они нас так и не простили?” – думал он и вспоминал худую мать, зябкие длинные тусклые вечера. Он сожалел, что ничему толком за свою жизнь не выучился, разве что клеить марки почте, куда в четырнадцатилетнем возрасте сунула мать. Сортировал письма, принимал телеграммы...

И вот теперь, выйдя на пенсию, скопив, как и положено немцу, некоторую сумму и, предварительно изучив глянцевые проспекты, приходившие на почту в изрядном количестве, купил тур. Глядя на картинки с золотыми, утонувшими в зелени куполами, он ощущал зов, сердце просыпалось от спячки, а кончики пальцев начинали чуть заметно дрожать.

Трудно сказать, почему в первую поездку Бернхард выбрал две точки: Кириллов и Соловки. В Кириллове, не пытаясь согнать с лица блаженно-мечтательное выражение, с несвойственным ему чувством полёта над землёй, всматривался в разлившееся озеро, в могучие монастырские стены. В музеях с настойчивостью исследователя дотошно рассматривал экспонаты. В храмах не только разглядывал иконостас и иконы, но несколько раз пытался осенить себя крестным знаменем, сосредоточенно прикладывая к двум пальцам третий.

Девушка, представившаяся Леной, участия в его высоких душевных порывах не принимала: равнодушно стояла в отдалении, дожидаясь, скользкая взглядом скользкая по экскурсантам и историческим объектам. В свои тридцать с небольшим она выглядела старше. Устала от выкрутасов выпивохи отца, матери, колотящейся над каждой копейкой, ищущей выгоду в любом мало-мальски выгодном деле. Используя дар залезать в душу своим и чужим, мать впихнула дочь в “ин-яз”, ничем, по-видимому, не побрезговав, так как сочла это предприятие очень выгодным. Вот Леночка теперь и отрабатывала...

На лице Лены, кроме безразличия и скуки, Бернхард иногда замечал недоумение. Он догадывался, что она не понимала, зачем какому-то заштатному немцу российская история. Её взгляд часто говорил ему: какого чёрта ты съёшь свой нос в каждую дырку. Почему задаёшь какие-то глупые вопросы экскурсоводам, если в русском ни бельмеса, а те ни слова по-немецки... Нарочито вяло тащилась к ним, переводила лениво и невнятно.

Он же старался быть с ней вежливым, предупредительным: поддерживал под локоток, одобрял взглядом, в ресторанах отодвигал для неё стул. А она? Локоток выдёргивала, на взгляд не отвечала и делала вид, что не понимает, когда он настойчиво просил на обед то пигус, то взвар.

“Нет, должность betreuer не по ней. Дело сопровождающей обеспечить мне наибольший комфорт, а она... только мешает.”

Бернхард замечал, что Лена, показывая местным экскурсоводам на него то взглядом, то кивком головы, посмеивалась над ним, а те поглядывали на неё с явным сочувствием. Но он терпел... Увы, сбежать от неё не представлялось возможным.

Как-то, заметив приближающегося к колокольне звонаря, Бернхард припустил за ним и уже стал подниматься по крутой деревянной лестнице, как вдруг Лена, распахнув настежь аккуратно прикрытую им дверь, ворвалась, схватила за рукав и стянула вниз.

– Да, что же это такое? Что ты мне житья не даёшь? Отстань от меня! – хотелось закричать ему во всю глотку.

Но промолчал.

Лена же процедила сквозь зубы:

-Ich bin fur Ihre Sicherheit verantwortlich.

А сколько трудов ему стоило уговорить реставраторов, жестами показывая на своды в храме, чтобы взяли его с со-

бой на леса, и опять тоже:

– Я отвечаю за вашу безопасность.

“Неужели она и на Соловках будет опекать меня как нянька?” – волновался Бернхард, не сводя глаз с мелькавших за окном пейзажей, то величественных, то убогих...

Их поселили в новом гостевом доме на Торфяном озере. Номера оказались друг против друга. Ему выделили номер большой светлый, окнами на восток, ей комнатку с видом на ельник. Бернхард с охотой парился в русской бане и нагишом нырял вместе с норвежцами в кажущуюся маслянисто-бурой, но удивительно чистую и прозрачную воду. Норвежцы рыбками повисали в воздухе и разрезали поверхность озера лёгким всплеском. Немец плюхался так, что вода выходила из берегов. Он досадовал на себя, сожалел о своей тучности, но радовался, что научился плавать в юности, посещая некоторое время тесный городской бассейн.

Лена негодовала и скрипела зубами.

Бернхард рвался всё увидеть, сфотографировать и запомнить. В музее ГУЛАГа, уже после экскурсии, умолил экскурсовода открыть стеклянную витрину и достать для него редкую книгу. Рассматривая фотографии, он внимательно

всматривался в чужие лица чужой жизни. Заглянув через его плечо, Лена бросила: “ Зачем тебе это надо?” И в сторону: “Немец, перец...”.

Бернхард вдруг почувствовал себя виноватым, как бывало уже не раз в этой поездке, и потому остаток дня и вечер не только не открывал рта, но выглядел старым, больным, угрюмым...

С утра всё пошло по плану: экскурсии, богослужения, вечером кресторезная мастерская.

Лена валилась с ног, он просил её остаться в номере, отдохнуть, она не соглашалась.

– Пойми, я за тебя отвечаю, – твердила она.

Она перестала подкрашивать глаза, а волосы, ставшие ломкими, похожими на перья, прятала под косынкой, которую повязывала так, чтобы защитить лоб, уши и шею от изводящих её комаров...

Как-то отправились на Муксалму. Когда подошёл катер, показавшийся Бернхарду ржавой кастрюлькой, Лена запихнула его в каюту и рявкнула, чтоб сидел и не высовывался, а он то мечтал встать на нос так, чтобы брызги в лицо –

и упиваться, и фотографировать, и млеть... Порывался вырваться из тесноты с одним немытым оконцем, но Лена не пускала. Выдвинула вперёд руки и толкала его вниз. Немец сначала посмеивался, будто принимая игру, потом всерьёз рассердился и отпихнул бы свою телохранительницу, если бы не её гневное и всегдашнее: “Я отвечаю за вашу безопасность!”. Спустился вниз, съёжился на скамейке у окна. Лена встала на стрёме у трапа. “Караулит”, -злился Бернхард.”

Жара и духотища донимали его. Через мутное стекло он увидел, что Лена изменила дислокацию и, скрестив руки на груди, стояла около сходней и почти в упор смотрела на капитана: пора отчаливать.

Однако тот не спешил. Закурил, прошёлся по берегу, постучал сапогом по борту катера, опять закурил. Из леса к озеру, растянувшейся цепочкой, подходили паломники. Он сразу узнал эту группу: несколько часов назад встретились, когда спускались с Секирки. Их автобус сломался и весь путь туда и обратно они проделали пешком. Уставшие, почти в изнеможении тащились к катеру, говорили что-то капитану, видимо, просились на катер. Капитан опять закурил, потом, отшвырнув сигарету, махнул рукой и дал знак: загружайтесь. Бернхард наблюдал, как он помогал подниматься женщинам по сходням, следил за его уверенными движениями и вдруг заметил женщину лет сорока с ребёнком, девочкой лет пяти. Девочка сидела у женщины на шее. Ручонки, ухватившись

за материны волосы, безжалостно дёртали и теребили пряди. Лена жестикулировала, пытаясь что-то втолковать капитану. Тот лишь пожимал плечами и резкими движениями отбросил сходни...

“Перегруз”, – отметил про себя Бернхард, пробираясь к выходу из каюты, в которую набилось изрядное количество пассажиров...

В толпе он не сразу отыскал Лену, которая высматривала кого-то. Он, привыкший быть под надзором, рванулся в её сторону, но понял, что она ищет не его. Протискиваясь с носа на корму и обратно, шёл за ней, не обращая внимания на недовольные взгляды и шипение женщин, на дрожь и крен катера, не глядя на величественную картину необъятного неба с парящими в нём чайками, альбатросами, поморниками. Наконец-то увидел, на что, вернее, на кого смотрела Лена. На капоте среди других, полулежавших вплотную друг к другу, выделялась женщина с девочкой. Девочка прилегла у женщины на подоле, между ног, и та придерживала её обеими руками. Бернхарда насторожило не столько то, что пассажиры находятся на таком опасном месте, как то, что даже на ребёнке, не было спасательного жилета.

– Лена, Лена! На ребёнка необходимо надеть жилет! – выкрикнул через головы.

Она вместо ответа развела руками, пожала плечами...

Неожиданно катер остановился, по левому от него борту качался на волнах другой катер, немного больше, чем их. Толпа сгрудилась на палубе и приветственно махала руками. Капитаны, стараясь перекричать ревущий мотор и чаек, перекивались друг с другом. Бернхард догадался, что капитан аварийного судна о чём-то просит. “На буксир хочет, вот чудак, мы же и так еле тащимся”. Однако, судя по тому, как тот был настойчив, заключил, что сговор состоится. Но тут появилась Лена. Подойдя к капитану, она сказала что-то и, показав на Бернхарда, строго взглянула сначала на одного капитана, потом на другого. Бернхард усмехнулся: “Меня оберегает”. Очевидно, её аргумент был настолько весом, что капитаны лишь пожали плечами и разошлись. Отчалив, катер набрал ходу и, натужившись, задрожал ещё сильнее...

Метрах в пятидесяти от дамбы, заглушив мотор и бросив якорь, капитан начал переводить пассажиров на ожидающие их деревянные лодки. Вместе с гребцами, поддерживая то одну женщину, то другую, он помогал подойти к скамье и только после того, как та, обретя равновесие, занимала свободное место, протягивал руку следующей.

Внезапный всплеск воды, истошный женский крик, за

ним второй всплеск, третий “плюхом”, которого пошли круги на несколько метров, потом ещё один всплеск ... Никто не успел понять, что произошло, как уже увидели руки в серой намокшей одежде, поддерживающие ребёнка над водой, круглую седую голову... Руки передали девочку капитану и тут же исчезли...

Оглушая пространство грохотом мощного мотора, новенький “Мангуст” с бело-сине-красным развевающимся флагом нёсся по заливу, сверкал в лучах заходящего солнца. Укутанные пледами, сидели в каюте две женщины, девочка пяти лет и грузный старик. С волос всех четверых капало. Глаза старика весело блестели. Окружившие стол бравые парни хлопали старика по плечу, смеялись, подливали ему и себе в пластмассовые стаканы, а он, повторяя время от времени “russischer vodka sein gut”, то откусывал от шматка жёсткой “краковской” колбасы, неумело подтягивал за ними непонятные русские песни. Девочка вертелась, поглядывая на старика, как и её мать, с благодарностью и восторгом. И только одна пассажирка, то ли женщина, то ли девица, казалась озабоченной. Двумя пальцами она держала уголок промокшего паспорта в бордовой обложке и, движением руки из стороны в сторону пыталась его просушить. Старик же потечески любовался ею и прикидывал в уме маршруты их будущих путешествий по России.

Бумажная свадьба

Не прошло и трёх лет после желанной для Лёвушки свадьбы, как он заметил, что у Ларисы, его супруги, голубоглазой с соблазнительными ямочками на щёчках дамочки, появилось в лице что-то печально-скорбное. Время от времени её крошечный в виде бабочки рот странно сжимался, и нижняя губа начинала подрагивать.

Недавно, подходя с Ларисой к подъезду дома, где она жила с родителями до бракосочетания с Лёвушкой, он заметил двух амбалов, стоявших неподалёку.

– Поспешила, – бросил один из них и, Лёвушка, скосив глаза на жену, заметил, что она нахмурилась и покраснела.

“Неужели жалеет?”.

Он не знал, что Лариса, прежде чем принять его предложение, как некогда гоголевская Агафья Тихоновна, долго примеряла на себя женихов, и только её маменька, утвердила кандидатуру:

– Конечно, Лёвушка. Если уж он тебе не жених, то не знаю, что тебе надобно.

Лёвушка действительно выглядел самым достойным.

Во-первых, в его уме сомневаться не приходилось: кандидат медицинских наук, пишет докторскую, во-вторых, у него московские, в четвертом поколении, корни, в третьих, рост метр восемьдесят, бледное, в обрамлении чёрных вьющихся волос лицо, и, главное, его любовь к Ларисе. Но, увы, ему не хватало брутальности. Он это чувствовал и страдал.

Стараясь компенсировать недостаток, делал всё возможное и невозможное. Например, подавал Ларисе кофе в постель, дарил милые безделушки и даже предоставлял ей относительную свободу. Ларисе разрешалось время от времени пойти с подружками в консерваторию, иногда в театр, брать уроки вокала и балльных танцев. Но, как казалось Лёвушке, если кто-то из её подружек выходил замуж за спортсмена, она завидовала. И он всё думал и думал, чем бы порадовать жёнушку... К годовщине свадьбы он решил преподнести ей тур в Италию.

Каково же было его удивление, когда Лариса, проявив неожиданную решительность, заявила:

– Нет, мы поедem на Соловки!

И Лёвушка тут же купил семейный чемодан на колёсиках и билеты на поезд...

В вагоне, скомкав и утянув за собой расстеленный в коридоре ковёр, с трудом втащил чемодан в купе, безуспешно попытался сначала запихнуть его в ящик под диваном, потом взгромоздить на полку для багажа. Лариса, стоя в дверях, нервно мяла ляжку рюкзака из светло-бежевой натуральной кожи и вежливо извиняясь перед пассажирами, которым загораживала проход, смотрела на кончик своего носа и с сожалением отмечала про себя: “Нет, не орёл” .

Так началось их путешествие. Но потом по мере того, как подмосковный пейзаж сменился на карельский, у Ларисы, прильнувшей к окну, глаза радостно заблестели: она любовалась подступавшим к поезду лесам, могучим, вздувавшимся от силы воды рекам, валунами, казавшимися разбро-санными великанами... Лёвушка с наслаждением выхватывал из мелькавших названий станций те, которые были написаны по-карельски, и это почему-то его очень радовало и веселило.

Когда же катерок, подхвативший их в Кемии, понёс по Белому морю, переливающемуся жемчужными блёстками, стояли на палубе, крепко держась за леера.

Трудно сказать, как бы прошло их путешествие, если бы не повстречали они другую пару, уже обременённую чадом лет двенадцати. Это случилось на Заяцком острове, когда

экскурсия закончилась и туристы, прохаживаясь по берегу моря, пытались вернуться из глубины веков в современную действительность. Негромко переговариваясь и предвкушая обед и отдых, они утомлённо всматривались в морские просторы и ожидали, когда же со стороны бухты Благополучия появится катер. Но тут с противоположной стороны, поигрывая сначала белым мазком, потом парусом, появилась лодка. Чуть позже различили головы. Когда судно причалило, увидели троих: мужчину, женщину и девочку лет двенадцати. Загорелые, жилистые, под стать друг другу. Лариса тут же уцепилась взглядом за мужика. Лёвушка, заметив восторг, с которым Лариса смотрела на мужчину, сжался, посмурил... Сняв спасательные жилеты, яхтсмены вышли на берег. Их фигуры, бронзовый загар, лёгкая походка вызвали интерес у экскурсантов. Казалось, что это люди какой-то другой цивилизации. Красивые, приветливые, улыбающиеся. Лариса онемела. Лёвушка обратил внимание, что и мужчина выделил его жену из толпы и бросает на неё восхищённые взгляды.

Укрепив лодку на берегу и о чём-то переговорив со зрителем на причале, семейство отправилось вглубь острова. Мужчина всё время оглядывался.

– Как голова не оторвётся”, – негодовал про себя Лёвушка, досадуя на задерживающийся катер... Но катер не при-

был, и когда троица, очевидно познакомившись с достопримечательностями острова, вернулась к лодке. И опять те же взгляды...

Неожиданно мужчина резкими шагами приблизился к лодке. Женщина, очевидно, его жена, изогнув лёгкий стан, достала что-то из-под сиденья и передала мужчине. Тот, развернувшись, подбежал к Ларисе. Несколько секунд он и она, не шевелясь, стояли друг перед другом. Любуясь мужем, женщина с восторгом следила за тем, какое неотразимое впечатление произвёл он на голубоглазую красавицу.

“Глаза в глаза”, – сжимая кулаки, злобствовал Лёвушка.

Он увидел, как мужчина сунул что-то его жене в руки, большое, тяжёлое, ярко-переливающееся на солнечном свете. Это “что-то” тут же юркнуло в большой, затрепетавший, пакет.

“Что, что он тебе дал?” – хотелось закричать Лёвушке, вырвать предмет из рук жены, но лишь смотрел на Ларису каким-то новым, изучающим взглядом. Его удивило, что женщина-яхтсмен выглядит вполне дружелюбно, не высказывает недовольствия поведением мужа, будто даже одобряет его, переглядывается насмешливым взглядом с девочкой.

– Девушка, – крикнула она со смехом, – давайте к нам, у нас место свободное есть!

И Лёвушка испугался, а вдруг... Взглянул на жену...

Оттолкнув нос яхты, мужчина прыгнул на борт, бросил команду. “Есть отдать концы”, – отчеканила женщина.

Неожиданно для себя Лёвушка, восхищённо глядя на отходящую лодку, ни к кому не обращаясь произнёс:

– Хотел бы я, чтоб моя жена была у меня матросом!

И тут же услышал, как ему показалось едкое и обидное, брошенное как упрёк:

– Для этого нужно, чтоб муж был капитаном!”

Ох, как застряла эта фраза в Лёвушкиной голове, как она там крутилась, не давая ему покоя весь остаток дня, ночь и даже то утро, когда вышли с другими туристами в поход по озёрам и каналам... Как бы ему хотелось стать капитаном...

А что же Лариса? Сразу же после экскурсии на Заяцкий остров, едва перешагнув порог ресторана, она направилась на кухню и передала повару пакет, в котором покачивалась

уснувшая рыбина. На удивление быстро блюдо, украшенное свежей зеленью, поплыло в ловких руках официанта над головами экскурсантов. Лариса положила кусок рыбы Лёвушке, кусок себе. Остальное – попутчикам. Ела с удовольствием, смакуя. Уговорила и Лёвушку отведать, он сначала отказывался и сердился, указав жене на нескромное поведение.

– Не понимаю, что ты в нём нашла.

Но свой кусок рыбы съел и ... простил...

В одной лодке с ними оказалась пожилая дама лет шестидесяти, путешествовавшая в одиночестве. Её Лёвушка устроил на корме.

Ларису посадил на нос, лицом к себе, сам – посередине, приладив обычные вёсла в ключины, и, положив рядом с собой, короткое.

Сначала шли по озеру. Лариса витала среди облаков, нагибаясь, ловила воду, млела от тёплой воды и солнца. Её “ланины” порозовели, “перси” колыхались в такт лёгкому движению лодки. Однако вскоре подул встречный ветер и войти в канал оказалось ни так-то легко, лодку всё время сносило, Лёвушка то грёб обеими вёслами, то осторожно подгрёбал малым. Его ничтожный детский опыт гребца в столичном пруду Екатерининского парка, тут не пригодился. Рас-

считывать на женщин не мог, значит – сам. После нескольких неудачных попыток вошёл в узкую протоку, с древних времён выложенную валунами. Переместившись на нос, Ларису пересадил в центр, упершись ногами в днище, повёл своё судно. Но как же медленно оно двигалось. Повернувшись, чтобы проверить своих пассажиров, заметил входившие в канал лодки. Теперь от Лёвы зависело их успешное продвижение вперёд. Проход же становился всё уже и уже. Пришлось встать на колени и отталкивать лодку то от одного берега, то от другого. Иногда и Лариса пыталась помочь ему, тогда он покрикивал на неё, давая указания. С облегчением вздохнули, когда вышли в озеро. Лариса опять о чём-то размечталась, она то гладила поверхность воды, время от времени касаясь плотных листьев кувшинок, то следила за полётом чаек, круживших над озером. Лёва, поменявшись с Ларисой местами, сидел на центральной скамейке и грёб, внимательно вглядываясь в расставленные на берегу жёлтые стрелки.

Пожилая дама временами напоминала о себе, с сожалением рассказывая о внучке, которая уже три года как замужем, а детей-то всё нет. Лёва, слушая её, сжимал вёсла так, что у него белели кончики пальцев и, желая сменить тему, тут же находил в прибрежных зарослях белку или лису и шептал пассажиркам:

– Смотрите, смотрите!

И те замирали на мгновение, а затем почти беззвучно ахали.

Огибая небольшой островок, кругляшом выступающим из-под воды, Лёва заметил, что, отвлекаясь от гребли, он нарушает ритм, движения становятся более хаотичными, лодка сбивается с курса, и лодки, шедшие за ними, перегоняют их и уходят в очередную протоку. Солнце же, ярко светившее во время их путешествия, поблёкло и уже не переливалось в воде блёстками. Сначала его размазало марево, потом оно скрылось за поднимающейся из-за моря тёмно-фиолетовой полосой.

Неожиданно озеро вздрогнуло крупной рябью. Налетел похожий на гул ветер. Съёжившись, опасливо поглядывая на небо, женщины накинули на плечи ветровки. Лёва никак не мог решить: продолжать ли движение по воде или причалить к берегу. Оглядывался по сторонам, пытаясь получить подсказку от лодочников, шедших их же маршрутом, но лодок на озере не наблюдалось. Тёмная полоса, обернувшаяся гигантской иссиня-чёрной птицей, закрыла небо. Махни она сейчас крыльями – и не останется ни лодки, ни их самих.

– Подгребай! – крикнул Лёва, передавая жене короткое

весло и Лариса, стараясь попадать в такт с его движениями, начала отталкивать от себя воду.

– Раз, два, раз, два, – командовал Лёва, ощущая прилив сил и новую, неведомую раньше радость. Подплыв к берегу, взглянули на небо. Туча, разорвавшись на части, уходила куда-то вдаль, из её ошмёток выглядывало солнце.

– На Анзер пошла, – тоном знатока сказал Лёва, готовясь оттолкнуть лодку от берега...

Но услышал:

– Лёв, передохнуть бы. Голова кружится.

Лёва подал руку Ларисе, потом пожилой женщине, перешагнув через борт, привязал лодку. Земля уходила из-под ног, шатало.

Вдруг слабое Ларисино “Ах!” Удивлённый и испуганный взгляд на мужа.

– Лёва, нога. Очень-очень больно. Ступить не могу.

– Садись вот сюда, на пень. Ногу вытяни...так... на меня... пошевели пальцами, теперь пальчики к себе. Так, так.

Пяточку ко мне...

Лёва, работавший когда-то фельдшером, определил сразу.

– Это у тебя растяжение. Как умудрилась?

Снял футболку, скрутил в жгут, уверенными движениями забинтовал лодыжку.

Опираясь на плечи мужа и пожилой дамы, Лариса доплелась до лодки...

От пристани до гостиницы Лёвушка нёс Ларису на руках. Время от времени опускал её на землю, и тогда ему помогала пожилая пассажирка. Лариса, держась за неё и мужа то болталась между ними, как подвешенное на коромысле ведро, то неловко прыгала, а дама с непонятным тайным удовольствием бубнила “и от мыши бывает добро”.

В номере Лёвушка уложил Ларису в постель, перебинтовал ногу добытым где-то эластичным бинтом и, устроившись рядом, мурлыкал

что-то нежное и утешительное.

Спустя несколько дней ковыляли к причалу и, прощаясь с бухтой Благополучия, махали монастырю, скитам, озёрам и провожавшей их пожилой даме.

За бортом плескалось море, в нём, играя чешуёй, мелькали рыбы, попрошайничали любопытные бельки, ловя доверчивыми глазами взгляды людей. Скандалили чайки. Время от времени катер обгонял яхты, и пассажиры и яхтсмены приветствовали друг друга, поднимая руки и, разгоняя ими холодный воздух.

Лариса, которую Лёвушка усадил на корме и укутал тёплым пуховым платком, поглядывала на мужа и что-то шептала. За надсадным рёвом мотора слова гасли, но ему слышалось “Мой капитан”. Он не видел ни чаек, ни яхт, ни морского простора с разбросанными там и сям островами – ничего кроме голубых глаз, отражающих солнечные блики, ямочек на щеках и маленького треугольного рта с чуть дрожащими губами.

Прелесть

Марина Ивановна к юбилею Валентина начала готовиться заранее. Отдала в химчистку платье. То, которое купила за год до пенсии, послушав совет тетки, что потом уже ничего не купишь. Правда, платье было не ахти: ну тут уж ничего не поделаешь, и если в плечах у тебя сорок восемь – пятьдесят, а в бедрах пятьдесят два – пятьдесят четыре, то приходится

чем-то жертвовать. Марина Ивановна пожертвовала плечами, и они противно топорщились, нарушая ее представления о гармонии. Ей почему-то казалось, что Валентин предпочитает женщин ухоженных, а потому пришлось идти в парикмахерскую, где, поглядывая на свое отражение в зеркале, все прикидывала, хватит ли в кошельке денег, а потом выложила перед кареглазой, затянутой в полупрозрачную кофточку администраторшей почти половину пенсии.

Осталось купить билеты. Туда и обратно. Решила, что вернется домой последним поездом. Только торжество. Потом сразу на вокзал. Это будет правильно, так ей удастся хоть на чем-то сэкономить. Нет, никаких достопримечательностей, прогулок и прочих излишеств. Никаких переночую где-нибудь. Все обдумав, Марина Ивановна протянула деньги в кассу и неожиданно для себя купила билет только туда... Почему?

Она даже боялась подумать об этом.

Из вещей взяла в поездку шарфик, креп-шифоновый, купленный когда-то на распродаже в магазинчике за углом, где все по одной цене. Его палевый цвет так удачно сочетался с еще приличными босоножками, о которых приятельница Оля когда-то сказала: «Я в таких же замуж выходила. Помнишь?» – и засмеялась, а Марина Ивановна покраснела и по-

пробовала оправдаться: «Видишь, какая я бережливая».

И это действительно так. Ей удалось сбечь не только старые вещи, но и давних друзей, и даже запахи далекого времени.

Марина Ивановна до сих пор хранила в памяти тот день, когда они с Олей поехали на дачу к Валентину, тогда еще художнику и костлявому десятикласснику. Это было давно, еще в те времена, когда на площадях у памятников поэтам читали стихи, а на День Победы ходили посмотреть на живых героев последней войны... В то утро, посмотрев на неубранный, с крошками хлеба стол, Марина не обнаружила там записку от мамы. Обычно та, уезжая в командировку, оставляла ее возле хрустальной вазы. Правда, мама еще вечером предупредила ее о своем отъезде, но теперь, не найдя записки, Марина почему-то обиделась и подумала, что мама не любит ее, а любит только свою работу. Ведь даже ее, Марину, она родила в чужом, далеком городе, где по маминому проекту тогда строили сталеплавильный цех металлургического комбината. В хлебнице было пусто, в мойке стыла грязная тарелка. Пришлось повязать фартук. Иногда Марине казалось, что ее мысли о матери и ревнивы и завистливы, и Марина гнала их от себя, но они нет-нет да возвращались к ней. «А вот Олина мама всегда дома», – вздыхала Марина...

Когда девочки были маленькими, именно Олина мать водила Олю и Марину на танцы, а потом, когда вела их домой, покупала обеим по эскимо. К тому же у Оли был папа, и Оля всегда радостно бросалась ему на шею, когда тот возвращался с работы домой. Оля счастливо смеялась, а Марина стояла на пороге, едва сдерживая слезы, и изо всех сил старалась улыбаться. Она знала, что ее папа уехал куда-то далеко. По крайней мере так говорила мама, когда Марина спрашивала ее об отце.

Рассматривая себя в зеркале, Марина пыталась найти в своем облике то, что у нее, возможно, было от папы. Большой рост? Да, она – дылда. Для танцев это неплохо, а для нежных чувств не годится: в классе она выше всех мальчишек, кроме Валентина, конечно, у которого рост за сто восемьдесят. Но тому нравится Оля, которая ему по плечо. В школе Марине никто из мальчиков не дарил цветов. Если не считать цветок, который как-то на Восьмое марта вытащил из букета мимозы, предназначенного Оле, Валентин. Перед тем как передать букет Оле, он посмотрел на Марину как-то особенно внимательно, оторвал маленькую веточку и протянул ее Марине. Она потом долго хранила ее в «Евгении Онегине» прямо на письме Татьяны. Может, цветок и сейчас там, засохший, как мумия?

Марина Ивановна грустно вздохнула и перенеслась в тот

далекий май, когда уже цвела черемуха и они с Олей ехали к Валентину на дачу. Ревновала ли она тогда Валю к Оле? Сейчас ей казалось, что нет, ведь Оля – ее лучшая подруга, все детство вместе: в песочнице вместе пекли куличи из разноцветных формочек, играли в сине-красный мяч, держась за руки, катались на коньках, ходили на бальные танцы... Оля всегда была рядом, как родная сестра, смотрела прямо перед собой, казалась уверенной. А она? Все ворон считала, раскрыв рот.

В тот день за окном автобуса отчаянно светило солнце, блестело на молодых листьях, рассыпалось по молодой, еще изумрудной траве. Неожиданно из-за поворота выплыл храм. Бело-розовый, украшенный замысловатой лепниной. Марине даже показалось тогда, что сейчас он оторвется от земли в небо. Она не могла отвести от него взгляда, и только услышав недовольный Олин голос: «Ты что уснула? Нам выходить!» – поспешила за подругой.

Выйдя из автобуса, они тут же увидели Валентина: в легкой кепке, белой рубашке с короткими рукавами и в каком-то смешном галстуке в виде шнурка под горлом. Валентин смущенно улыбался Оле, его глаза так сияли, что у Марины что-то заныло внутри. Когда же Оля протянула ему руку и, хихикнув, присела в шутовском реверансе, Валентин неожиданно покраснел, и Марине стало его жалко.

—Пойдемте скорей туда, там такой храм! – сказала она восторженно и, не оборачиваясь, почти бегом поспешила к храму.

Оля с Валентином едва поспевали за ней...

В храме было темно и тихо. Всюду серые, в подтеках стены, на которых остатки былой росписи, затянутые пленкой разбитые окна. Марина пошла вперед и, остановившись у ступеней, перекрестилась. Стуча каблучками, подошла и Оля, за ней Валентин.

– А там что, за этими воротами? – кивнув на возвышение, за которым стояли черные двери деревянного алтаря с едва проступавшими на них изображениями святых, спросила Оля. – Я туда хочу.

– Там алтарь, – тихо ответил Валентин. – И тебе туда нельзя.

– Почему? – кокетливо надула губки Оля. – Если я туда хочу?

– Там только ангелу можно, – опять покраснев, ответил Валентин.

– А я пойду, – сказала Оля, глядя с вызовом на Валентина и упрямо вскинув подбородок, – туда, где ангел.

– Нельзя, – прошептал Валентин, опустив голову, и взял Олю за руку. Ольга тут же резко вырвала ее. Валентин в этот момент с какой-то болью и отчаяньем смотрел на Олю и все мял в руках свою кепку. Неожиданно для себя Марина шагнула к нему, взяла у него из рук кепку и пошла к выходу.

Выйдя из храма, почти бегом спустилась к реке, села на камень возле черемухи и, вдохнув ее сладкий, одурманивающий аромат, замерла, глядя на воду. Мимо нее, отражаясь в воде, проплывало голубое небо с легкими облаками и белые лепестки цветков. С удивлением заметив в своих руках мятую белую кепку, Марина надела ее на макушку, и у нее закружилась голова. Марине почему-то казалось, что Валентин и Оля непременно подойдут к ней, но они все не шли и не шли.

Тяжело поднявшись с камня, она побрела обратно к храму.

Оля и Валентин стояли друг против друга. Оля, опустив голову, медленно водила веткой по земле, а Валентин что-то горячо говорил, кажется, о чем-то просил ее. Когда Марина

подошла, заметив на ее голове кепку и указывая на нее, Оля засмеялась:

– Ты что эту кепку-то нацепила?

Марина совсем забыла про кепку. Взглянув на растерянного Валентина, она улыбнулась, взялась за козырек кепки и повернула козырек на затылок.

– О, как ты умеешь... А мы тут, кстати, поспорили. Я говорю, что церковь построил Баженов, а он... он утверждает, что Казаков. И вообще, нечего тут торчать. Мы кажется приехали к Вале на дачу...

– Пойдемте к реке. Там такая черемуха!.. А на дачу... еще успеем.

– Черемуха? Отлично! – И Валентин, широко шагая, направился к реке.

– Налетай! – кричал он, ловко балансируя на ветках и бросая сверху целые охапки черемухи к ногам Оли и Марины. Оля стояла молча, не обращая внимания ни на Валентина, ни на цветы, и смотрела прямо перед собой какими-то пустыми глазами. А Марина все собирала цветы, прижимала их к груди, боясь обронить хотя бы одну из веток, и, когда

Валентин спрыгнул с дерева, протянула ему:

– На, держи.

– Нет, это я для вас обоих собирал, – ответил Валентин, глядя на Олю.

– А мне не надо, – холодно произнесла Оля и тут же добавила: – Мне пора. Можешь нас не провожать.

– А как же дача? – растеряно спросила Марина, прижимая черемуху к груди.

– Да что-то не хочется, – бросила Оля и, взяв Марину за руку, потянула ее к стоянке автобусов.

Марина, с трудом удерживая свободной рукой охапку цветов на груди, то и дело оборачивалась, смотрела туда, где стоял растерянный Валентин, который не знал, что ему делать: то ли бежать вслед, то ли...

Автобус будто поджидал их и, едва девушки вошли, качнулся из стороны в сторону, затрясся и начал набирать скорость.

– Ты что же кепку-то ему не отдала? – с усмешкой взгля-

нув на Марину, спросила Оля.

– Ой, забыла! – вскрикнула Марина и почувствовала, как кровь залила ей лицо.

Только дома она сняла кепку Валентина. Поставила черемуху в хрустальную вазу, и квартира тут же наполнилась сладким, дурманящим запахом.

Ночью Марина проснулась и почувствовала, что больше не может дышать. Она поняла, в чем дело, бросилась к окну, отворила его, попыталась сделать вдох, потом выхватила букет из вазы, невольно опрокинув ее, и выбросила цветы, а потом поплыла в мареве черемухового аромата...

Утром, собирая осколки разбитой вазы, Марина так глубоко поранила безымянный палец, что на нем до сих пор оставался заметен небольшой шрам.

Сегодня, сидя у компьютера и уже в какой раз сверяя по «Яндексу» маршрут предстоящей поездки, Марина Ивановна почему-то думала о том, что непременно ошибется, перепутает станции метро, сделает пересадку не там, где надо, или на эскалаторе у нее закружится голова и она упадет и разобьется насмерть...

Сон, который приснился ей прошлой ночью, спутал все ее планы, испугал. Марине Ивановне снился незнакомый крепкий мужчина с бородой. На нем белая рубашка, заправленные в сапоги брюки. Его фигура увеличивается у нее на глазах. Покачивая руками, подобно ростовой кукле, он совершает плавающие движения, закрывая собой вход в какое-то светлое пространство. Марина Ивановна стремится проникнуть туда, в нездешнее, прекрасное, но мужчина говорит ей: «Вам сюда нельзя». Остолбенеv, Марина Ивановна пытается произнести хоть слово, проскользнуть мимо его ручищ, но, как это обычно бывает во сне, ноги ее не слушаются... Проснувшись, подумала: не позвонить ли Оле и, может, сдать билет?

Теперь же с трепещущим сердцем, выйдя из автобуса, Марина Ивановна шла к тому самому храму, о котором вспоминала всю свою жизнь. С благоговением глядя на его бело-розовую неземную красоту, удивляясь свежести его отреставрированных стен, ухоженности и порядку вокруг, она испытывала странное чувство, в котором были и восторг, и сожаление, и печаль. Когда же все пространство наполнил колокольный звон, ее сердце от волнения застучало так громко, что даже отдавало в висках и в горле. Колокольный звон, густой, праздничный, в честь тезоименитства владыки Николая, отзывался в ней каким-то новым чувством сопричастности, что ли, и звону, и всему тому, что сегодня должно бы-

ло произойти в этом прекрасном храме. Он плыл над землей, сливался с ароматом черемухи, распустившейся за эту ночь. Марина Ивановна то и дело переходила на быстрый шаг, поправляла шарф, который повязала на голову вместо платка, полагая, что шарф, конечно, благороднее, чем обычный платок.

Вдруг ноги ее стали ватными. «Это от волнения», – с беспокойством подумала она и встала возле храмовой ограды, чтобы первой увидеть, как владыка Николай выйдет из лимузина, неспешно пойдет по расстеленной перед ним ковровой дорожке, как люди толпой бросятся к нему за благословением. Мысль о том, что сейчас она увидит Валентина, услышит его голос, вместе с ним будет молиться, а потом примет из его рук причастие, так волновали ее, что она почувствовала, как начинают дрожать руки.

Владыка Николай подходил все ближе! Толпа уже гудела у храма, но Марина Ивановна видела только одного его, у нее перехватывало дыхание, она боялась, что он узнает ее, но именно это ей сейчас и было необходимо. Только бы просто взглянул, только бы одобрил улыбкой. Оля рассказывала, что в прошлый его юбилей, когда она подошла к причастию, Валентин, улыбнувшись, прошептал чуть слышно: «Ну, здравствуй, милая». Сейчас же он смотрел прямо перед собой, его взгляд был спокоен и немного грустен. Перекрестившись, он

поднялся по ступенькам и вошел в храм. За ним – священство и прихожане. Пристроившись к толпе, Марина Ивановна робко шла следом. Сейчас она войдет в храм, начнется праздничная литургия, потом проповедь... Она мечтательно прикрывала глаза, и ей казалось, что все слова о любви, о Боге Валентин будет говорить именно ей, а она... она будет молиться только... ему.

– Помаду хоть сотри! – прервала ее мечты полная женщина, с осуждением глядящая на нее.

– Она у меня бесцветная, – беззвучно прошептала Марина Ивановна, поднося ладонь к губам.

В храме Марина Ивановна перекрестилась и постаралась стать невидимой в толпе прихожан.

Из Царских врат вышли священнослужители и владыка Николай. «Валечка, – мысленно прошептала Марина Ивановна, – Валечка, как же я тебя люблю». Она искала и находила в лице владыки те черты, которые всегда были так ей дороги.

– Что вытаращи́лась-то? Прельстить хочешь? – услышала она все тот же голос.

Служба продолжалась, а Марине Ивановне казалось, что все шикают на нее, с осуждением смотрят, толкают локтями, и, не дождавшись причастия, она бросилась вон из храма, отчаянно протискиваясь сквозь тесные ряды.

«Прельстить!» – крутилось у нее в голове это чуждое, страшное слово.

Торопливо убрав под шарф волосы, она туго завязала его под горлом и, опустив глаза, медленно пошла вдоль ограды – туда, где еще недавно стояла, ожидая приезда владыки Николая. До нее донесся запах черемухи. Держась за прутья, она вдыхала этот дурманящий аромат, смотрела на храм, колокольню и не узнавала в нем того прежнего храма, которым любовалась, когда они с Олей ездили сюда к Валентину. Мария Ивановна думала о своей жизни, которая как-то не задалась с того самого дня... И вдруг ей стало страшно. Она подумала, что Валентин, прихожане и даже та толстая дама, так некстати нарушившая ее мечты, унесутся к ангелам, а она... останется на земле.

По-старушечьи шаркая, Марина Ивановна направилась к автобусной станции. Стараясь сдержать подергивание в уголке рта, она горько усмехалась своему одиночеству и думала о себе, об Оле и ее подкаблучнике муже, когда-то веселом, а теперь каком-то напуганном, по-прежнему называю-

щем Олю ангелом и предупреждающем все ее желания, об Олиных сыновьях, которые всегда дарят маме на день рождения цветы...

Неожиданно до Марины Ивановны донеслось пение. Это из открытых настежь окон храма хор и голоса прихожан, соединившись вместе, плыли над рекой, клейкими листьями деревьев, соцветиями черемухи, изумрудной травой... Марина Ивановна замерла. Ее глаза, до того печальные и какие-то потухшие, оживились. На губах появилась легкая улыбка. «Господи! Как хорошо, – прошептала она, – как хорошо-то...» – и подумала о том, что и у нее есть еще надежда на спасение и об этом надо побыстрее сказать Оле.

Часовня

Ещё не проснувшись, но уже ощутив себя, Галина почувствовала радость. Слабый, расплывающийся огонёк лампадки, чуть дрожа, освещал иконы, но в углах комнаты доживала чернота, посылая в день печаль прошлого. Ночь выстудила избу, охладила печь. С пола поднималась сырость. Галина с трудом опустила с постели отёкшие ноги и шарила ими в темноте, пытаясь найти тапочки. Ночная рубашка, байковый халат, старая кофта с залатанными рукавами, шерстяные носки, связанные из остатков разноцветной пряжи. Придерживаясь за стул, подняла своё большое, бесформенное тело в новый день, который вот уже несколько лет начинала с молитвы. Окончив утреннее правило, которое Галина читала

на свои слова, а, вернее, почти без слов, больше душою, чем словами, прошаркала к выключателю. Она знала, что соседи звонят электрикам несколько раз в день, что работы идут и всё ждала, когда же, наконец, починят. Но лампочка над столом, как вчера, позавчера, и уже несколько дней, по-прежнему, не оживала. Зажгла свечу, затопила голландку. Когда в печи загудело и начало потрескивать, улыбаясь сама себе или каким-то своим мыслям, поставила на плиту металлическую коробочку со шприцем и иголками.

Уже много лет она начинала утро с укола. Сахарный диабет, который начался ещё в детстве, стал такой же привычной частью её жизни как все остальные составляющие. Правда, иногда, если иголка затупилась, она морщилась и закусывала губу. О разовых шприцах Галина не мечтала. Откуда они здесь, в их глухомани. Хорошо, что ещё удавалось добывать инсулин. Не без помощи добрых людей, конечно. Пару раз Сергей Сергеевич ей привозил разовые, тогда иголка шла легко и не оставляла синяка. В детстве, когда мать делала Галине укол, у матери всегда дрожали руки и было очень больно, и Галина просила: “Ну, коли же, коли быстрее”. А отец, кусая губы, отворачивался к окну и теребил пальцами шторы. Ещё отец, трезвый или даже пьяный, часто сажал дочь на колени и, прижимая к себе, так крепко, будто хотел спрятать за пазуху, качал головой из стороны в сторону и шептал: “Мой грех, мой!” А Галя вдыхала запах отца,

настоявшийся на самогоне, самокрутке и мужской силе и думала, какой папка хороший. Правда, когда он пинал ногой их корову Зорьку или бегал за матерью с топором, она так не думала, а кричала:

“Папка, папка!”. А когда он, после того, как косил для всех кто ни попросит, потому что отказать не мог, умер, и мать побежала по деревне к мужикам с просьбой, чтоб помогли с гробом, Галя сидела рядом с отцом на полу и охраняла его от крыс. Когда же гроб с телом вынесли на улицу и поставили рядом с крыльцом, Гале показалось, что он приоткрыл глаза и, показывая глазами на небо, сказал: “Ты, доченька, ничего не бойся, всё хорошо!” Но ей было плохо, потому что папку очень жалела и себя. Потом, когда его похоронили и на сороковой день они с матерью были на кладбище, мать спустилась к ручью, чтобы набрать воды, а она осталась одна. Сидела на скамейке и смотрела перед собой. И тут произошло чудо: над могилой воздух вдруг задрожал, заискрился, и Галя увидела отца, но не всего, а только по поясу. Она удивилась, что рубашка на нём не та белая, в которой хоронили, а старенькая, клетчатая. Она показалась Гале чистой как с мороза, а лицо отца, при жизни морщинистое и в оспинках – гладким. Отец смотрел на Галю и улыбался. Она тогда так ему обрадовалась, что жалеть перестала и тоже стала улыбаться...

Заправляя кровать и улыбаясь, Галина расставляла подушки на старый манер, как при матери, и нет-нет поглядывала на окно, за которым уже начали вырисовываться и запорошенная яблоня, и пригнувшийся под тяжестью снега малинник, и забор, заваленный снегом. Теперь, когда уже почти рассвело, движения Галины стали энергичными и по ним можно было догадаться, что впереди её ждёт какое-то важное дело. Умыться она не смогла и, подёргав носик рукомыльника советского, за 2руб.30 коп. убедилась, что вода в нём замёрзла (что ж “не век, не сряду лето бьёт ключом”), а потому, разбив ковшиком ледок в ведре, поливала себе из него то на одну, то на другую руку. В наше время, когда в домах у соседей был водопровод, газовая колонка и даже батареи под окнами, у неё всё оставалось по-прежнему, но, к удивлению многих, это не огорчало её, а лишь вызывало на лице улыбку, как и то, что не успела она ещё и кровать застелить светлым покрывалом, как на нём уже красовались три задушенных крысёнка, за которыми, полу прикрыв горящие треугольники зеленых глаз, всё это время наблюдал кот домашний средней пушистости. Он терся о ноги хозяйки и издавал приятное для её слуха мурлыканье. Потрепав его по загривку и прошептав что-то одобрительное, она переложила трофеи рядом с блюдцем у печи и, быстро завершив утренний круг необходимых дел, прикрыла дверь... Надо заметить, что жила Галина на Центральной улице поселения, ещё совсем недавно называвшимся селом, хотя церковь в нём дав-

ным-давно сломали. В глубине же, между домами, стоял магазин, к которому тянулась найденная тропа, по обе стороны ее – обычные сельские одноэтажные среднерусские дома, на некоторых из них недавно поменяли крыши на металло-черепицу и они красивы выделялись среди прочих. За ними ухаживали: после зимних снегопадов всегда в семье находилась кто-то, кто залезал на крышу и любовно очищал её. Дома эти, оштукатуренные или облицованные сайдингом, огороженные новой рабицей или даже профнастилом и внутри отличались от прочих, доживавших свою последнюю жизнь под износившимся шифером. Галина, правда редко, но иногда бывала в этих новых домах, которые она называла квартирами. Её удивляло тепло, шедшее от батарей, ванные комнаты, туалеты с белыми унитазами, мебель, которую привозили из города. Большинство людей, живших в квартирах, ездили на работу на электричках и ежедневно направлялись по Центральной улице в сторону железнодорожной станции. Конечно, некоторые предпочитали автомобили и не только отечественные, но пользоваться могли ими не всегда. Улица, по которой ездили и ходили, во время зимних снегопадов почти не очищалась, так как единственный тут старенький трактор, почти всегда ремонтировался и только когда появлялся очередной покойник или ожидали комиссию из города, выполнял свою дворницкую функцию. По ночам улица освещалась тремя покосившимися фонарями. В самом ее конце, ближе к железной дороге, напротив заброшенных ко-

ровников, день ото дня росла свалка, расплзаясь по пустующему полю. Зимой её покрывал снег и становилось светлее и чище. Галя любила зиму, лето, осень. Любила весну. Любила каждый день и час жизни, любила любить даже если любить было не за что. Раньше её любовь часто кончалась слезами. Особенно в детстве, когда дети не хотели с ней играть и, поднося палец к виску и, покручивая им, повторяли “Дурочка, дурочка” или, когда повзрослела и, набирая силу, забились в ней что-то, и она сама того не зная, вводила мужиков во грех. Они пользовались, смеялись, а Галя плакала...

Теперь не то. Теперь любовь в радость, теперь она ровным светом, в каждом деле, в каждой безделице. А всё началось с того дня, когда выбирали председателя поселкового совета. Придя загодя и усевшись на скамейке у калитки, от которой когда-то разбегались, ныне заросшие травой и кустарником в сторону детского сада и библиотеки стёжки-дорожки, она много чего интересного увидела и услышала. Увидела, как подъехал джип и из него, перешагивая через лужи, не спеша вышел бывший шалопут Сашок, ныне известный как, проживающий в райцентре, арендатор местного леса Александр Степанович Баринов. Увидела, как натягивая на ходу фуражку, выскочил на крыльцо Сергей Сергеевич, как обменявшись рукопожатиями, они о чём-то переговаривались и до неё донеслись слова Александра Степановича, что обустроить надо, обустроить, а Сергей Сергеевич поддаки-

вал и глаза у обоих горели молодостью и азартом, хотя оба уже были ни так уж и молоды: перевалило за сорок. Она вдруг вспомнила отца, когда тот, построив летнюю кухню, бросил матери: “Ну, теперь обустройвай!”. И Галине почему-то показалось, что если она опустит в ящичек бумажку, то на улице по вечерам станет светло. Откроют детский сад, библиотеку и она опять вместе с Аникиной будет там убирать дорожки... Она пошла в сторону к поселковому совету, чтобы попросить бумажку, но Сергей Сергеевич, заметив её, сказал, чтоб не спешила, потому что только наследит, а лучше бы шла домой .

– Ты, Галя, приходи попозже, а то к приезду начальства полы как бы не испачкать.

Галина обиделась на бывшего одноклассника и буркнула: “ У меня сапоги чище твоего пола”.

Но тут к крыльцу подошла Аникина и, увидев, что Галина уже хлюпает носом, а, значит, сейчас разревётся, погладила Галину по голове и сказала: “ Сергей Сергеевич, она со мной, пусть” . Перешагнули через высокий порог и, долго вытирая ноги о половик, прошли по коридору, вошли в комнату, где был расстелен красный ковер с зелеными полосками по бокам, а справа, за столом, сидела, улыбаясь незнакомой улыбкой, грузная, похожая на мужчину Клавдия Ива-

новна, которая, взяв у них паспорта что-то отметив в разложенной большой тетради протянула им бумажки, Аникина отдала свою Галине и та засияла вся, потому что у неё было две бумажки. “Ну, иди, опускай.” А Клавдия Ивановна сказала, что сначала надо галочку поставить там, где фамилия Сергея Сергеевича...

И вот как-то, когда Галина шла на колонку, ту, последнюю, за которой железнодорожная насыпь, она увидела, что на дороге стоит КАМАЗ, нагруженный брёвнами, рядом с ним – Сергей Сергеевич, которому теперь издали все кланялись и называли с отчеством и на “Вы”. Сергей Сергеевич размахивал руками, рукава куртки задирались и из-под них торчали худые руки. “Мясом так и не оброс” – с сожалением подумала о нём Галина. Он что-то говорил, показывая на луговину за крайним домом. Вдруг, с грохотом опрокинув борт, КАМАЗ вывалил свежие, пахнущие лесом сосновые брёвна. Галина ахнула, присев от неожиданности и даже прикрыла рот ладонью, задержав испуг. Около колонки, забыв про льющуюся воду, стояла Марго, москвичка, сбежавшая из Москвы в заброшенный дом Прошкиных. Из-под забора Гончаровых тьякала шавка местной коротконогой породы. Подъехал на советском джипе Александр Степанович и, с достоинством глядя на Сергея Сергеевича, кивнул на свой подарок. Сергей Сергеевич быстро, почти бегом, подошёл к нему и опять, как и тогда в день выборов, долго тряс его руку

и улыбался...

А через три дня напротив старых коровников, на луго-вине уже красовался свежий сруб, напоминавший колодец, увенчанный небольшим деревянным крестом. Отец Алексей, приехавший из райцентра на подаренном ему Александром Степановичем стареньком бургузине, кропил часовню, и Аникина подпевала ему тонким старушечьим голосом. Сергей Сергеевич стоял рядом с Александром Ивановичем, они умело крестились и кланялись. Клавдия Ивановна, разметав ноги, время от времени билась лбом о траву. Несколько детишек крутилось подле, Марго стояла у своей калитки, вывернув шею в сторону часовни. Время от времени кто-то проезжал или проходил мимо, вот, неодобрительно покачав головой проехала на велосипеде к магазину продавщица Гудкова, прогромыхал на проржавевшем “Москвиче” железнодорожный обходчик Шатунов. Галина, стоявшая сначала в стороне, подошла и, подпевая Аникиной, встала на колени рядом с Клавдией Ивановной, а когда батюшка запел и, взяв с оконца икону стал обходить часовню, поднялась с колен и пошла за ним. Она то поднимала голову к небу, то опускала её вниз и, угадывая отдельные слова, с какой-то неожиданной радостью повторяла их:

“Господи помилуй, господи помилуй, упование наше, слава тебе, услыши ны, многия лета, многия лета.”...

Теперь каждое утро, едва проснувшись, Галина спешила к часовне, открывала дверь и... убирала нечистоты, мыла за нерадивыми односельчанами и их гостями пол, скребла каждую половичку, выносила мусор, протирала иконы, зажигала свечи и, положив к иконкам дешёвые конфетки, радостно благодарила Бога за дарованную ей радость послужить ему. Счастье, в котором теперь жила Галина так велико, что могло сравниться лишь с бездонным небом, которого так много... и ей казалось, что это не беда, если снег завалил улицу и часто в окнах лишь слабо колышется свечной огонёк, а уколы инсулина помогают всё меньше, и меньше...

Казалось бы, ничто не могло помешать привычному течению её жизни. Ни дождь, ни снег, ни болезни, если бы однажды её не остановила Марго:

– Слыхала? Баринов-то тендер на лес и землю за селом проиграл.

Что такое тендер Галина не знала, как и многих других новых слов, которые время от времени долетали до неё. Она хотела спросить: что это, но постеснялась. Когда же Марго, сетуя на новых хозяев леса, пробурчала, что теперь она, Марго, без сарая останется, удивилась и спросила:

– А почему без сарая?

– А потому, что нашим теперь шиш, а не материалы. Говорят, нам отпускать не будут. Теперь всё на сторону пойдёт. Контракты они какие-то подписали. А уж что теперь с твоей часовней будет вообще не понятно. Земля-то тоже теперь новых арендаторов.

Услышав эти слова, Галя побледнела и, сузив глаза, с вызовом глядя на Марго сказала:

– А Сергей Сергеевич на что? Мы за него голосовали. Он у нас главный.

И воще, Марго, я тебе не верю ты вечно запугиваешь: то говорила, колонки не починят, теперь это. Вы, москвичи, ни как все: вам всё плохое мерещится. Не верю я тебе. – И, плюнув в сторону Марго, развернулась и пошла, почти побежала к сельсовету.

Запыхавшись, поднялась на крыльцо и, рванув дверь, влетела в коридор. Оглушённая тишиной остановилась и перевела дыхание. Услышав слабый шелест принтера в комнате Клавдии Ивановны, уверенно прошла вперёд.

– Тетя Клава, мне Сергей Сергеевич нужен.

– Так он это, в отпуск уехал, в Турцию. Чего ему здесь. А потом, говорят, на повышение пойдёт. В районе в мэрии служить будет. А тебе он зачем?

– Марго сказала, что теперь неизвестно что с часовней будет.

Клавдия Ивановна, вперившись в монитор, долго молчала, а потом, повернув голову и посмотрев на Галину, тихо сказала:

– Почему же не известно, известно.

– Ты, Галь, не шуми только, а часовню твою сносить будут. Место уж больно хорошее. Новый арендатор там хочет стройку затеять, чтоб магазин у нас был как в городе, а не сельпо. А что твоя часовня? В ней что молится кто? Гадят только.

– Но я же там убираю, там же чисто! – завопила Галина и, бросившись на колени, сложила ладони и, протягивая их к Клавдии Ивановне, глядя на неё с такой мольбой, что у той не только сердце задрожало, а и руки, продолжала уже тихо, почти чуть слышно, – тётя Клава, умоляю!

– Что я-то могу? Я-то кто? Я – секретарь, понимаешь ты это, никто я, ноль без палочки... Хотя... напишу бумагу, по домам сходим, соберём подписи, может, и оставят. Только вряд ли... – вздохнув и покачав головой Клавдия Ивановна повернула голову в сторону компьютера и стала неспешно перебирать буквы на клавиатуре.

Галина же, продолжая стоять на коленях, всё смотрела и смотрела на Клавдию Ивановну, потом перевела глаза на стол, стены и тут, натолкнувшись взглядом на маленькую иконку над дверью, задрожала, начала быстро-быстро креститься.

– Ты, Галь сейчас домой иди, успокойся. На тебе лица нет. Давай- ка я тебе помогу. – И, встав со стула с трудом подняла Галину с колен и, что-то шепча ей, довела до входной двери...

Спустя две или три недели, Галина поднялась рано. Как обычно, прошептала молитвы, сделала укол и, не успела ещё переложить с постели к кошачьей миске ежедневные подношения кота домашнего, как вздрогнула, напряглась, вслушиваясь в донёсшийся до неё рокот мотора. Сорвалась и бросилась на улицу. Не видя ни домов, ни неба над головой она спешила как мать к попавшему в беду ребёнку.

У часовни толпились люди. Кто-то стоял в стороне, кто-то рядом. Заметив Аникину, Галина не стала подходить к ней, а решительно направилась к одному из незнакомых мужчин, который показался ей начальником. Куда девалась её обычная застенчивость, медлительность и даже вялость.

– Вы чё тут? – резко спросила она его.

– Да, вот, ломать хочет, – оказавшийся рядом Баринов смотрел на незнакомца с откровенной злобой. Не дадим! – вдруг закричал он, обращаясь сразу ко всем.

А от переезда, злобно рыча, съехав с дороги, к часовне уже подкатывал КАМАЗ. Набирая скорость, он приближался всё ближе и ближе. Когда расстояние между ним и часовней сократилось до нескольких метров, Баринов досадливо махнул рукой и отвернулся, отскочила в сторону Аникина, Клавдия Ивановна завопила и рухнула на колени. Галина метнулась к часовне, распахнула руки и, закрывая собой часовню, замерла... От колонки бежала Марго. “Галя, Галя!” – кричала она...

Шалава

Шурочка, шустренький такой воробышек, пёрышки вместо шапки, у швейцара не задержавшись, промелькнула быстренько на любимое место, чтоб укромно и с подоконничком и чтоб ей видно, а её нет. Хотелось бы супчика тёп-

ленького, как бабушка варила, чтоб с капусткой, помидорчиками, но здесь только с луком, сверху хлеб запечённый, под ним жижица коричневатая. Вечером другой не подают, а раньше Шурочка в магазине, где над кассой шалашиками сложенными торчат её вихры, за которые как её только бабушка не величала. Шурочка помнит и, когда вспоминает, в луковый суп нет-нет да роняет слезинки. Если рядом Витя, то она смеётся и рассказывает. Но сегодня Вити нет. Витя сегодня потащился с друзьями. Типа обиделся, типа с ума сошла волосы зелёной красить и так шалава. Пока суп ей грели, услужливый официант (“Не желаете ли пока что-нибудь выпить?”) не раз являлся перед ней, накрывая поднос крахмаленной салфеткой с рюмочкой. Шурочка принимала и всё слала Витеньке эсэмэски и даже написала, чтоб зашёл в контакты, где она фотку свою сегодняшнюю выложила. И только выложила, лайки так и посыпались, но не от него. “Тоже мне жених,” – гневалась и губку закусывала. Тут и супок подоспел. Только ей уже не до супа, ей себя жалко, всё ждёт, что, может, он сейчас друзей по боку, и она ещё издали его заметит и отвернётся, будто вовсе во все глаза его и не выглядывала и опять уйдёт в айфон и будто там вся её жизнь наманикюренная. Ложкой отодвинула запечённую корочку, аппетита ну, никакого, ложку на стол положила и всё ищет то за стеклом, то в контактах: где ж ты мой суженый.

Только рука у Шурочки вдруг дрогнула (то ли от апери-

тива, то ли от тоски безмерной) и розовенький, усеянный стразами, самый любимый (даже больше Витеньки!) (Бабушка бы сказала цацка твоя), с ручками-ножками, с головкой в горшочек, утёк, ускользнул, увяз. И ложка не помогла, и руками залезла, еле уловила, еле выловила. В луке, мокрый, не отзывается, а официант ещё: симку, симку надо вынуть, дайте я салфеткой промокну (Снулый, – сказала бы бабушка про айфон.) А Витька так и не пришёл, и бабушки уже год как нет, одна в этом чёртовом городе, одна, а завтра опять в магазин, а потом опять в бар или перед зарплатой в Макдоналдс, не полезешь же раньше времени на свой ярус, там же дышать не чем. Теперь ни Витеньки (с ним всё с ним покончено!), ни айфона, ни бабушки. Шурочка тащилась в хостел на последний этаж без лифта, дверь коричневым облезлым покрашена и плакала.

Пепельница

“Был у меня когда-то брат, двоюродный. Раньше бы сказали – кузен, – начала свой рассказ Виринея, – он очень нравился многим женщинам: высок, скроен ладно, чернокудр, глаза – под цвет волос, живые такие. Но был у него маленький изъян, который и придавал его внешности какую-то милую уязвимость – губы у него были мягкими и слишком пухлыми.

Так и хотелось подойти к нему и побренчать на них: тренбрень гусельки. Впрочем, он только по молодости ходил с

бритым лицом и ртом напоказ, а потом, как повзрослел, спрятал их под бородой и небольшими усами. Ну, это уж потом, с возрастом. А в детстве, юности – куда их спрячешь. Так и ходил. Представляете – так мил, так хорош и вдруг – такой казус.

Но это не мешало женщинам в него влюбляться. На него клали глаз и немолодые дамы, знаете из тех, которые любят под зонтом в солнечный день в парке прогуляться, и циркачки-канатоходки, и робкие кружевницы, не говоря уж об отважных юных леди, готовых бороздить океаны на яхтах с красивым капитаном. Под его окнами сновали девицы на выданье, поплёвывая себе под ноги шелуху от семечек и, громко хихикая, поглядывали на спущенные жалюзи.

Любил ли он кого-нибудь из них я не знаю, так как была в те годы ещё мала и не смышлена. Но уже и тогда доходили до меня слухи, что лет в четырнадцать приключилась с ним почти тургеневская история, после которой он сразу повзрослел и стал смотреть на жизнь и на людей с какой-то усмешкой: всё-то, мол, я о вас знаю.

Скажу честно, положив руку на сердце, даже оперившись, я испытывала к нему всегда хоть и самые искренние и нежные чувства, но только были они – сестринскими.

Не знаю почему, я всегда мечтала получить от него какой-нибудь подарок. Однажды я даже соврала подружкам, будто новые американские босоножки, купленные мамой, подарены им.

В те далёкие годы, – продолжала Вириная, – когда делать что-то своими руками считалось делом достойным, он увлёкся поделками из дерева. Находил какой-нибудь причудливый нарост на дереве, какую-нибудь корягу и кудесничал над ней, пока не выходило что-нибудь очень миленькое.

Однажды, в самом конце весны, в то время, когда расцветают ландыши, сирень, каштаны и начинают петь соловьи – брат подарил мне пепельницу, размером с небольшую розетку.

Очевидно, ему нелегко было найти и обработать заготовку – пепельницу обвивали тонким оплетьем то ли корневища, то ли лианы. Покрытая светлым прозрачным лаком, она сохранила кружевные очертания древесных волокон и от этого казалась почти волшебной. Почему-то я отнеслась к этому подарку довольно равнодушно, правда первое время часто протирала её тряпочкой и переставляла с места на место.

Я выросла, стали ко мне в гости иногда захаживать юнцы, в отсутствии родителей они иногда покуривали и стря-

хивали пепел в ту самую пепельницу.

Как-то, когда было какое-то очередное семейное собрание, зашёл и брат. После бесед, еды и чая, он присел у моего стола, взял свою пепельницу, покрутил в руках, посмотрел на остатки пепла, обожженную древесину и взглянул на меня печально и недоуменно.

– Что это?

Я пожала плечами.

В тот вечер пепельница пропала. Больше я её никогда не видела”, – закончила свой рассказ Вириная.

Пахло смолой и летом

Маша милая, привлекательная, можно даже сказать приятная во всех отношениях дама лет сорока, стояла перед зеркалом с помадой в руке и думала. Вчера ей сделал предложение Герман Германович. Был он высок, строен, надёжен. Недавно поменял старую “Мазду” на новую, жил в загородном коттедже и служил логистом в их компании. Хотя он и был когда-то женат, детей у него не было, о чём он вчера вечером с сожалением поведал Маше, при этом томно глядя на ее полуоткрытую грудь. С некоторых пор и Маше казалось, что неплохо бы завести ребёнка.

О словах логиста она думала так напряжённо, что над бровями собралась новая морщинка.

– Бельчонок, не морщи лоб, – говорил когда-то в таких случаях Петухов, её второй муж и первый любовник.

Она улыбнулась. Ей было приятно, что Петухов её не забывает: приезжает, когда надо починить кран или перевесить полки.

Недавно Петухов пригласил Машу на уикенд, но ехать с ним на озеро или нет, она до сих пор не решила.

«Тащиться чёрт знает куда без машины комаров кормить?!» – возмущалась она.

Но смог, висевший вторую неделю над городом, жара, капризный голос начальницы, вызванивавший Машу каждый час и требовавший какие-то бумаги, отчёты, баланс...

Да и Петухов может обидеться, если она снова откажет ему. Последний раз на его предложение махнуть на природу она начала что-то мяукать, а он вдруг резко перебил:

– Если не хочешь, скажи сразу, и я исчезну.

Нет, терять Петухова не хотелось...

Мобильник вздрогнул, и на дисплее высветилось лицо Петухова круглое, чуть курносое.

– Мадам, за вами зайти или... Я уже под окнами!

Маше показалось, что сегодня Петухов без обычного шутовского колпака, а, значит, трезв.

Она улыбнулась и ответила:

– Жди.

Подхватила рюкзачок, похожий на кукольный, взглянула на себя в зеркало, стараясь не замечать подлых морщинок в углах губ и возле густо накрашенных глаз, и такой вот почти неотразимой выпорхнула за дверь.

Увы, от Петухова разило.

– Опять с запашком? – сказала Маша, гневно взглянув на Петухова, и ей расхотелось ехать с ним на природу. На душе вдруг стало пусто как в день их развода.

– Да ладно тебе! Мне ведь сегодня сорок. Забыла... – оби-

делся Петухов.

– Эту дату не отмечают, – сердито бросила Маша.

Дорога была привычно-однообразной. Толкали в метро, жали в автобусе, и Маша вспоминала своего логиста-автомобилиста, который презрительно называл поездку в набитом автобусе петтингом.

Она смотрела в одно окно, Петухов в другое. Правда, Петухов, сняв с себя громоздкий рюкзак, всю дорогу пытался поддержать её под локоть не то услужливо, не то подобострастно. Она же всякий раз выдёргивала свой локоток из его влажной ладони и вспоминала логиста с маздой.

“Всё-таки как нелеп этот Петухов! – думала она. – Эта его старая ветровка, рюкзак только что не с помойки. Уж не те ли на нем джинсы, что я купила ему после свадьбы?”

Вышли у поворота. Молча пошли рядом. И будто – солнце не для них, небо не для них.

Вдруг Петухов остановился:

– Какой воздух! Чувствуешь? – радостно, как-то по-детски воскликнул он, глядя на неё восторженно.

«Просто идиот какой-то!» – мрачно думала Маша, и мимо её мысленного взора мчался вождеденный логист в новой мазде с блондинкой из бухгалтерии.

Однако от солнца, от сосен так пахло забытым, далёким, сладким, что Петухов постепенно перестал раздражать Машу.

Наконец они вышли к озеру, и Маша легла на байковое одеяло, которое Петухов услужливо расстелил на берегу.

Ей стало спокойно. Чуть слышно поскрипывали сосны, перекликались какие-то птицы, то и дело, спрашивая друг друга: “Ты меня любишь?” С озера доносился плеск волн. Где-то далеко скандалили чайки.

“Конечно, с ребенком будут проблемы. Этот последний аборт... – рассуждала она. – Но Герман хочет, и, значит, в случае чего, придется взять ребенка из детдома” ...

Тем временем Петухов, пыхтя, расчищал место, собирал окрестный мусор и относил его подальше в лес. Он уже натаскал сушняка, и скоро должен был затрещать, защелкать веселый костерок...

Сквозь лёгкую дрёму Маша слышала хриплое дыхание

Петухова, время от времени прерываемое покашливанием, и раздражение вновь овладело ею.

“Чёртов турист. До сих пор в Робинзона играет!”

Она знала, что Петухов по-прежнему работает в своём НИИ, получает свои жалкие копейки и считает, что всё должно измениться к лучшему, что не может же быть так скверно всегда. Её злило, что он как будто смирился со своей жалкой участью и не пытается ничего изменить.

“Хоть бы дуру какую-нибудь себе нашёл! – думала Маша. – И чего он околачивается возле моего дома, прячется, как мальчишка, за деревьями? Да, вот именно как мальчишка!”.

Петухов рубил хворост, валявшиеся тут же полусгнившие коряги, пыхтел, кричал с удовольствием показывая Маше, какой он ещё молодец. И вдруг вскрикнул, принялся ругаться – очевидно, поранил себя топором.

«Увалень!» – мстительно подумала Маша, улыбнулась и открыла глаза. Петухов сосал окровавленный палец и обиженным ребенком смотрел на бывшую жену...

Едва касаясь песка кончиками пальцев ног, по-коша-

чьи грациозно Маша пошла к озеру, представляя себе, как за ней из укрытия наблюдает логист, только что навсегда прогнавший ту отвратительную блондинку из бухгалтерии...

Озеро сильно обмелело, и она долго шла по мягкому песку, прежде чем зайти на глубину.

Маша всегда любила купаться. И в раннем детстве, когда готова была часами плескаться в мелкой речушке, и позже, в бассейне, где покоряла мальчишек своим классическим брасом.... Но теперь ей больше нравилось лежать на воде, разглядывать облака.

Вот и сейчас над Машей проплывали воздушные островки, которые превращались то в весёлых барашков с лёгкими завитушками, то в чей-то профиль или пухлое детское тело.

Маша вдруг вспомнила своего младшего брата, с которым ее как-то оставила мать. Он тогда сильно болел, и Маша сидела над ним, одновременно жалея беднягу и злясь на него. Брат стонал и вдруг сильно закашлялся; кашель перешел в хрип, и брат стал задыхаться. Маша смотрела на посиневшее лицо брата, и ей было страшно. Его лицо она помнила до сих пор...

Она перевернулась на живот и поплыла. Это облака сбили её с толку, заставили вспомнить неприятное...

Петухов уже разбил палатку и, утирая с лица пот, высматривал среди легкой ряби волн Машину голову. Головы нигде не наблюдалось, и Петухов испугался.

– Маша! – закричал он во весь голос, переполошив прибрежных чаек. Стараясь не думать о страшном, на ходу снимая джинсы, он бросился в воду.

Петухов не помнил, умеет ли он плавать, и когда увидел бывшую жену, гладкой дебелий рыбиной плывущую ему навстречу и с легким презрением смотрящую на его суетливые движения, вспомнил, что не умеет и начал задыхаться.

Маша увидела его вытаращенные испуганные глаза, посиневшие губы и испугалась.

– Петухов, Гена, что с тобой?

Он пробормотал что-то невразумительное, и вдруг, как испуганный ребенок, схватился за нее, обнял за шею.

– За плечо держись, – крикнула она, пытаясь скинуть его руку со своего горла.

Ей казалось, что сейчас у неё разорвется сердце, что они не плывут вовсе, а только натужно барахтаются на одном

месте. Остановились облака на небе, солнце стало чужим и блеклым, и только сосны на берегу безразлично качали ветвями и не то звали к себе, не то навсегда прощались... Маша чувствовала, что рука Петухова становится всё тяжелее. Сам Петухов уже наглотался воды и, широко открыв рот, делал судорожные вдохи. Маша же и не плыла даже, а всё смотрела на сосны на берегу, которые никак не хотели приближаться... Небо, солнце и весь мир были уже сами по себе, жили без неё, существовали как немая картинка, потерявшая смысл.

– Не могу больше, – прохрипел Петухов.

“Неужели это всё? – подумала Маша, чувствуя холод в животе, и тут же ее ноги коснулись дна.

Петухов, доковыляв до берега, рухнул на песок. Рядом с ним легла обессиленная Маша.

Ей приснился брат, который звал её куда-то. Хотя, нет, не брат. Это был Петухов.

– Бельчонок, как ты? – донеслось до нее.

– Отстань ты от меня со своим бельчонком, – простонала Маша.

Маша встала на ноги, стряхивая с тела песок. Петухов подбитым тюленем лежал на берегу и испуганно смотрел на Машу.

Она была готова с ожесточением пихать Петухова ногами, орать на него. Да, это он испортил ей всю жизнь, из-за него у неё не будет детей и богатства, из-за него она сейчас чуть не отправилась на тот свет...

Она увидела его белое рыхлое тело, съехавшие трусы, неестественно худые ноги и глаза, в которых было что-то знакомое, что-то такое, чего Маша боялась и стыдилась всю жизнь. И она вдруг поняла: эти глаза – глаза ее задыхающегося брата... Не отдавая себе отчета в том, что делает, Маша опустилась на колени рядом с Петуховым, обняла его и заплакала.

– Ну, зачем ты мне нужен, Петухов? – сквозь слезы спрашивала она.

Пахло смолой и летом, и Маша с ужасом понимала, что никогда не будет жить с логистом в коттедже и ездить на новой «мазде».

Задняя сторона обложки

На задней стороне обложки под фотографией

Нина Александровна Кромина (Нана Белл) родилась и живёт в Москве. Окончила Московский государственный институт культуры по специальности библиотековедение и библиография и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Публикуется в журналах и альманахах. Участник Литературного объединения “Точки” при Совете по прозе Союза писателей России. Автор книги “В городе и на отшибе”.

Член Союза писателей России.

